ШКОЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА



В. БОГОМОЛОВ

ИВАН
ЗОСЯ

ПОВЕСТИ

МОСКВА
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1981

Р2
Б74

РИСУНКИ И. ГОДИНА

Богомолов В.

Б74 Иван. Зося: Повести/ Переизд. Рис. И. Година.— М.: Дет. лит., 1981.— 127 с., ил. (Школьная библиотека).

В пер.: 35 к.

Широкоизвестные повести о Великой Отечественной войне.

Б $\frac{70803-292}{М101(03)81}$ 232—81 Р2

© Предисловие.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1981 г.

ЭТА НЕЗАБЫТАЯ ДАЛЕКАЯ ВОЙНА...

Захватывающие картины боя, грохот танков, ураганная стрельба... Ничего этого здесь не будет.

«Иван» и «Зося» — это война, но другие ее мгновения: почти тихие, почти мирные.

Подложив ладошку под щеку, укутанный в одеяла, засыпает во фронтовой землянке маленький мальчик... Медом и яблоками пахнет в июльском саду, и юная Зося, напевая и пританцовывая, идет через сад по тропинке...

Почти тихие мгновения, но всё той же войны, отнявшей у нашего народа двадцать миллионов жизней. Жестокая, разрушающая и убивающая сила нависает над этими мгновениями. Как хрупко, как призрачно-кратко всё тихое, мирное, прекрасное... И милый образ детства — лишь мелькнет, и первая любовь — оборвется... И никакого будущего нет у этого спящего мальчика, а в яблоневом саду на столике у влюбленного молоденького начштаба двести три заполненные похоронки, и недолго ждать нового боя.

Человек, написавший эту книгу, считает своим долгом рассказывать о войне так, чтобы те, кто не вернулся, не могли бы упрекнуть его в неправде. Он не дает воли вымыслу, и если он о чем-то говорит, то знает это твердо. То, что было,— было! — и это главное, с чем нужно считаться. Он хочет, чтобы мы все, живущие в холе и тепле благополучного мира, ощутили сильнее, как много мужества и духовной стойкости потребовала от человека та война. И сколько горечи и боли за страдания своих близких,

своего народа, за истерзанную, изуродованную жизнь нес в себе такой мужественный человек. И еще он хочет, чтобы мы почувствовали, как спасительна для человеческого естества эта боль, нестихающая, неутолимая, непрощающая...

Владимир Богомолов воевал совсем юным, был ранен, не раз награжден; позади остались фронтовые дороги. Белоруссии, Польши, Германии, Маньчжурии. Его роман о военных контрразведчиках («В августе сорок четвертого...»), впервые опубликованный в 1974 году, приоткрыл нам область воинской деятельности, с которой автор был хорошо знаком. Этот роман, как и написанные ранее повести «Иван» и «Зося», принадлежит к числу лучших произведений нашей литературы о Великой Отечественной войне.

«Иван» — повесть о двенадцатилетнем мальчике. Его редко называют Ванюшей, Ванюшкой. Взрослые сдержанны, ласковые слова малоуместны: нельзя же жалеть мальчонку, а потом отпускать, снаряжать туда, где не им, а ему предстоит рисковать жизнью... Взрослые, боевые офицеры, как бы даже стесняются Ивана, им неловко, беспокойно, не по себе. В них неустранимо живет горькое знание: мы-то, сильные, вооруженные, здесь, среди своих, а он, полураздетый, полуголодный, беззащитный, скитается там, во вражьем тылу, за вершок от смерти. И ничего не возможно поделать, ничего нельзя изменить. Эта «недетская сосредоточенность» взгляда, эта медленная еда без большой охоты, словно он отвык есть, словно какое-то внутреннее напряжение держит и не отпускает его... Ивана не остановить, не вразумить, не спрятать от войны. Он видел столько страшного, что не может жить нормально, по-детски, пока это страшное не будет уничтожено. Он снова и снова уходит туда. Он должен туда уходить. Он надеется, что всегда будет туда уходить и возвращаться. Уходить и возвращаться, пока не кончится война. Ему хочется жить, но не настолько, чтобы послушаться взрослых, уехать в глубь страны, учиться, расти, набираться сил. Об Иване говорят, что ему «ненависть душу жжет». Наверное, этот мальчик очень любил отца, сестренку, маму. Наверное, то, что он видел и пережил, не поддается словам. Писатель и не ищет таких слов, боясь неправды. Он полагается на наше воображение. Он знает: оно содрогнется,

пытаясь представить себе этот ужас. В. Богомолов не описывает катастрофы счастливого детского мира, мира любви и надежды. Он позволяет нам увидеть последствия катастрофы. И этот невидимый, сжигающий пламень ненависти.

Когда никого нет, Иван играет в землянке, как все мальчишки на свете во все времена. В землянке беспорядок, мальчик разгорячен, в руке нож, на груди бинокль... Похоже, что, даже играя, он продолжает рассчитываться с врагом, волшебно могущественный и неуязвимый. «А во что же ему еще играть? — мог бы спросить нас писатель.— Во что?»

Нет, не приключения храброго юного разведчика, неуловимого мстителя в тылу врага написал Владимир Богомолов, хотя мог бы, мог бы... Он исходил из того, что детям на войне делать нечего, и если там нашлось для них дело, то это несчастье, беда, и повода для восхищения и подражания тут нет. Он написал об Иване с любовью и нежностью. Он заставляет и наши сердца сжиматься от горечи и любви, от смешанного чувства жалости и гордости.

Повесть построена так, что мы видим Ивана глазами молодого старшего лейтенанта Гальцева. Это добрые и внимательные глаза. Им хорошо открыто главное: трагическая судьба детской жизни в дни войны. Когда-то Ф. М. Достоевский писал о неискупимых слезинках ребенка. В истории Ивана Буслова нет слез, но страдания его тоже из неискупимых.

На войне нужны твердые люди. Это известно. «Неврастеник ты, лечиться надо»,— подшучивает над Гальцевым офицер разведотдела Холин. «Гнилой сентиментализм»,— сердится на героя рассказа «Зося» его сверстник комбат Байков. Автор уважает твердость Холина и Байкова, он любит и ценит их, но твердость в его понимании много надежнее и приемлемее, когда соединена с человечностью и нравственной чистотой.

В. Богомолов хорошо знает, что война не способствует расцвету тонких и нежных чувств. Но в «Зосе» он рассказывает о том, что грубость и ожесточение, насаждаемые войной, не в силах опустошить, упростить человеческое сердце. Наперекор всему в паузе между боями, в какие-то фантастически-нормальные дни вспыхивает чи-

стейшая первая юношеская любовь с быстрым и робким касанием взглядов, с ее тревогой, отчаянием, надеждой, с потрясающим ощущением единственности и неповторимости происходящего... Что ей война, что ей вся невозможность счастья, что ей уроки пошлости! Она явилась и осталась навсегда в благодарной памяти, и каждый узнаёт ее, кто знал ее, кто ждет ее и предчувствует. Вот тихие мгновения войны, когда в воюющем мужественном человеке оживает всё, что было стиснуто, притуплено, оглушено. Он видит, как прекрасны река, трава, сад, небо, он читает стихи, он вспоминает дом своего детства. Он не в состоянии заполнять бланки похоронок казенными словами. Он еще видит этих ребят живыми. Ему невмоготу повторять каллиграфически исполненный образец с официальным обращением: «Гр-ке...», и он ищет слов проще и человечнее, чтобы смягчить эту сухость. Должно быть, когда все это происходит в человеке, что-то отражается на его лице. Мы не видим этого лица, но оно открыто Зосе, и Зося предпочитает всем лицам это лицо. Всем мужественным, прокаленным, бывалым — это, и мы догадываемся, какое оно. Зося ошибается, принимая стихи за молитву, но почувствовала она верно: этот русский офицер из породы верующих. Он из тех, что верят в красоту мира, в добрые и чистые чувства, в силу поэзии, в необходимость сострадания. В начале рассказа герой оговаривается: «Был я тогда совсем еще мальчишка, мечтательный и во многом несмышленый...» Но прошли годы и годы, а чувство, пережитое несмышленым мальчишкой, так и не забылось, и ничто не смогло заслонить в памяти польскую девочку Зосю из сада, где пахло яблоками и медом, а в кузове «доджа» на сене спали усталые русские лейтенанты...

Читая Владимира Богомолова, понимаешь: этому писателю и человеку можно верить. Он говорит о войне с чувством ответственности и боли: «я вижу мысленно всю Россию, где в каждой второй или третьей семье кто-нибудь не вернулся...»

Игорь Дедков

ИВАН

1

В ту ночь я собирался перед рассветом проверить боевое охранение и, приказав разбудить меня в четыре ноль-ноль, в девятом часу улегся спать.

Меня разбудили раньше: стрелки на светящемся циферблате показывали без пяти час.

— Товарищ старший лейтенант... а товарищ старший лейтенант... разрешите обратиться...— Меня с силой трясли за плечо. При свете трофейной плошки, мерцавшей на столе, я разглядел ефрейтора Васильева из взвода, находившегося в боевом охранении.— Тут задержали одного... Младший лейтенант приказал доставить к вам...

— Зажгите лампу! — скомандовал я, мысленно выругавшись: могли бы разобраться и без меня.

Васильев зажег сплющенную сверху гильзу и, повернувшись ко мне, доложил:

— Ползал в воде возле берега. Зачем — не говорит, требует доставить в штаб. На вопросы не отвечает: говорить, мол, буду только с командиром. Вроде ослаб, а может, прикидывается. Младший лейтенант приказал...

Я, привстав, выпростал ноги из-под одеяла и, протирая глаза, уселся на нарах. Васильев, ражий детина, стоял передо мной, роняя капли воды с темной, намокшей плащ-палатки.

Гильза разгорелась, осветив просторную землянку,— у самых дверей я увидел худенького мальчишку лет одиннадцати, всего посиневшего от холода и дрожавшего; на нем были мокрые, прилипшие к телу рубашка и штаны; маленькие босые ноги по щиколотку были в грязи; при виде его дрожь пробрала меня.

— Иди стань к печке! — велел я ему.— Кто ты такой?



Он подошел, рассматривая меня настороженно-сосредоточенным взглядом больших, необычно широко расставленных глаз. Лицо у него было скуластое, темновато-серое от въевшейся в кожу грязи. Мокрые, неопределенного цвета волосы висели клочьями. В его взгляде, в выражении измученного, с плотно сжатыми, посиневшими губами лица чувствовалось какое-то внутреннее напряжение и, как мне показалось, недоверие и неприязнь.

— Кто ты такой? — повторил я.

— Пусть он выйдет,— клацая зубами, слабым голосом сказал мальчишка, указывая взглядом на Васильева.



— Подложите дров и ожидайте наверху! — приказал я Васильеву.

Шумно вздохнув, он, не торопясь, чтобы затянуть пребывание в теплой землянке, поправил головешки, набил печку короткими поленьями и, так же не торопясь, вышел. Я тем временем натянул сапоги и выжидающе посмотрел на мальчишку.

— Ну что же молчишь? Откуда ты?

— Я Бондарев,— произнес он тихо с такой интонацией, будто эта фамилия могла мне что-нибудь сказать или же вообще все объясняла.— Сейчас же сооб-

щите в штаб, пятьдесят первому, что я нахожусь здесь.

— Ишь ты! — Я не мог сдержать улыбки.— Ну а дальше?

— Дальше вас не касается. Они сделают сами.

— Кто это «они»? В какой штаб сообщить и кто такой пятьдесят первый?

— В штаб армии.

— А кто это пятьдесят первый?

Он молчал.

— Штаб какой армии тебе нужен?

— Полевая почта вэ-чэ сорок девять пятьсот пятьдесят...

Он без ошибки назвал номер полевой почты штаба нашей армии. Перестав улыбаться, я смотрел на него удивленно и старался все осмыслить.

Грязная рубашонка до бедер и узкие короткие порты на нем были старенькие, холщовые, как я определил, деревенского пошива и чуть ли не домотканые; говорил же он правильно, заметно акая, как говорят в основном москвичи и белорусы; судя по говору, он был уроженцем города.

Он стоял передо мной, поглядывая исподлобья, настороженно и отчужденно, тихо шмыгая носом, и весь дрожал.

— Сними с себя все и разотрись. Живо! — приказал я, протягивая ему вафельное не первой свежести полотенце.

Он стянул рубашку, обнажив худенькое, с проступающими ребрами тельце, темное от грязи, и нерешительно посмотрел на полотенце.

— Бери, бери! Оно грязное.

Он принялся растирать грудь, спину, руки.

— И штаны снимай! — скомандовал я.— Ты что, стесняешься?

Он, так же молча повозившись с набухшим узлом, не без труда развязал тесьму, заменявшую ему ремень, и скинул портки. Он был совсем еще ребенок, узкоплечий, с тонкими ногами и руками, на вид не более десяти-одиннадцати лет, хотя по лицу, угрюмому, не по-детски сосредоточенному, с морщинками на выпуклом лбу, ему можно было дать, пожалуй, и все тринадцать. Ухватив рубашку и портки, он отбросил их в угол к дверям.

— А сушить кто будет — дядя? — поинтересовался я.

— Мне все привезут.

— Вот как! — усомнился я.— А где же твоя одежда?

Он промолчал. Я собрался было еще спросить, где его документы, но вовремя сообразил, что он слишком мал, чтобы иметь их.

Я достал из-под нар старый ватник ординарца, находившегося в медсанбате. Мальчишка стоял возле печки спиной ко мне — меж торчавшими острыми лопатками чернела большая, величиной с пятиалтынный, родинка. Повыше, над правой лопаткой, багровым рубцом выделялся шрам, как я определил, от пулевого ранения.

— Что это у тебя?

Он взглянул на меня через плечо, но ничего не сказал.

— Я тебя спрашиваю, что это у тебя на спине? — повысив голос, спросил я, протягивая ему ватник.

— Это вас не касается. И не смейте кричать! — ответил он с неприязнью, зверовато сверкнув зелеными, как у кошки, глазами, однако ватник взял.— Ваше дело — доложить, что я здесь. Остальное вас не касается.

— Ты меня не учи! — раздражаясь, прикрикнул я на него.— Ты не соображаешь, где находишься и как себя вести. Твоя фамилия мне ничего не говорит. Пока ты не объяснишь, кто ты, и откуда, и зачем попал к реке, я и пальцем не пошевелю.

— Вы будете отвечать! — с явной угрозой заявил он.

— Ты меня не пугай,— ты еще мал! Играть со мной в молчанку тебе не удастся! Говори толком: откуда ты?

Он закутался в доходивший ему почти до щиколоток ватник и молчал, отвернув лицо в сторону.

— Ты просидишь здесь сутки, трое, пятеро, но, пока не скажешь, кто ты и откуда, я никуда о тебе сообщать не буду! — объявил я решительно.

Взглянув на меня холодно и отчужденно, он отвернулся и молчал.

— Ты будешь говорить?

— Вы должны сейчас же доложить в штаб пятьдесят первому, что я нахожусь здесь,— упрямо повторил он.

— Я тебе ничего не должен,— сказал я раздраженно.— И пока ты не объяснишь, кто ты и откуда, я ничего делать не буду. Заруби это себе на носу!.. Кто это пятьдесят первый?

Он молчал, сбычась, сосредоточенно.

— Откуда ты?..— с трудом сдерживаясь, спросил я.— Говори же, если хочешь, чтобы я о тебе доложил!

После продолжительной паузы — напряженного раздумья — он выдавил сквозь зубы:

— С того берега.

— С того берега? — Я не поверил.— А как же попал сюда? Чем ты можешь доказать, что ты с того берега?

— Я не буду доказывать. Я больше ничего не скажу. Вы не смеете меня допрашивать — вы будете отвечать! И по телефону ничего не. говорите. О том, что я с того берега, знает только пятьдесят первый. Вы должны сейчас же сообщить ему: Бондарев у меня. И все! За мной приедут! — убежденно выкрикнул он.

— Может, ты все-таки объяснишь, кто ты такой, что за тобой будут приезжать?

Он молчал.

Я некоторое время разглядывал его и размышлял. Его фамилия мне ровно ничего не говорила, но, быть может, в штабе армии о нем знали? — за войну я привык ничему не удивляться.

Вид у него был жалкий, измученный, однако держался он независимо, говорил же со мной уверенно и даже властно: он не просил, а требовал. Угрюмый, не по-детски сосредоточенный и настороженный, он производил весьма странное впечатление; его утверждение, будто он с того берега, казалось мне явной ложью.

Понятно, я не собирался сообщать о нем непосредственно в штаб армии, но доложить в полк было моей обязанностью. Я подумал, что они заберут его к себе и сами уяснят, что к чему; а я еще сосну часика два и отправлюсь проверять охранение.

Я покрутил ручку телефона и, взяв трубку, вызвал штаб полка.

— Третий слушает,— я услышал голос начальника штаба капитана Маслова.

— Товарищ капитан, восьмой докладывает! У меня здесь Бондарев. Бон-да-рев! Он требует, чтобы о нем было доложено «Волге»...

— Бондарев?..— переспросил Маслов удивленно.— Какой Бондарев? Майор из оперативного, поверяющий, что

ли? Откуда он к тебе свалился? — засыпал вопросами Маслов, как я почувствовал, обеспокоенный.

— Да нет, какой там поверяющий! Я сам не знаю, кто он: он не говорит. Требует, чтобы я доложил в «Волгу» пятьдесят первому, что он находится у меня.

— А кто это пятьдесят первый?

— Я думал, вы знаете.

— Мы не имеем позывных «Волги». Только дивизионные. А кто он по должности, Бондарев, в каком звании?

— Звания у него нет,— невольно улыбаясь, сказал я.— Это мальчик... понимаете, мальчик лет двенадцати...

— Ты что, смеешься?.. Ты над кем развлекаешься?! — заорал в трубку Маслов.— Цирк устраивать?! Я тебе покажу мальчика! Я майору доложу! Ты что, выпил или делать тебе нечего? Я тебе...

— Товарищ капитан! — закричал я, ошарашенный таким оборотом дела.— Товарищ капитан, честное слово, это мальчик! Я думал, вы о нем знаете...

— Не знаю и знать не желаю! — кричал Маслов запальчиво.— И ты ко мне с пустяками не лезь! Я тебе не мальчишка! У меня от работы уши пухнут, а ты...

— Так я думал...

— А ты не думай!

— Слушаюсь!.. Товарищ капитан, но что же с ним делать, с мальчишкой?

— Что делать?.. А как он к тебе попал?

— Задержан на берегу охранением.

— А на берег как он попал?

— Как я понял...— Я на мгновение замялся.— Говорит, что с той стороны.

— «Говорит»! — передразнил Маслов.— На ковре-самолете? Он тебе плетет, а ты развесил уши. Приставь к нему часового! — приказал он.— И, если не можешь сам разобраться, передай Зотову. Это их функции — пусть занимается...

— Вы ему скажите: если он будет орать и не доложит сейчас же пятьдесят первому,— вдруг решительно и громко произнес мальчик,— он будет отвечать!..

Но Маслов уже положил трубку. И я бросил свою к аппарату, раздосадованный на мальчишку и еще больше на Маслова.

Дело в том, что я лишь временно исполнял обязанности командира батальона, и все знали, что я «временный». К тому же мне был всего двадцать один год, и, естественно, ко мне относились иначе, чем к другим комбатам. Если командир полка и его заместители старались ничем это не выказывать, то Маслов — кстати, самый молодой из моих полковых начальников — не скрывал, что считает меня мальчишкой, и обращался со мной соответственно, хотя я воевал с первых месяцев войны, имел ранения и награды.

Разговаривать таким тоном с командиром первого или третьего батальона Маслов, понятно, не осмелился бы. А со мной... Не выслушав и не разобравшись толком, раскричаться... Я был уверен, что Маслов неправ. Тем не менее мальчишке я сказал не без злорадства:

— Ты просил, чтобы я доложил о тебе,— я доложил! Приказано посадить тебя в землянку,— приврал я,— и приставить охрану. Доволен?

— Я сказал вам доложить в штаб армии пятьдесят первому, а вы куда звонили?

— Ты «сказал»!.. Я не могу сам обращаться в штаб армии.

— Давайте я позвоню.— Мгновенно выпростав руку из-под ватника, он ухватил телефонную трубку.

— Не смей!.. Кому ты будешь звонить? Кого ты знаешь в штабе армии?

Он помолчал, не выпуская, однако, трубку из руки, и вымолвил угрюмо:

— Подполковника Грязнова.

Подполковник Грязнов был начальником разведотдела армии; я знал его не только понаслышке, но и лично.

— Откуда ты его знаешь?

Молчание.

— Кого ты еще знаешь в штабе армии?

Опять молчание, быстрый взгляд исподлобья и сквозь зубы:

— Капитана Холина.

Холин — офицер разведывательного отдела штабарма — также был мне известен.

— Откуда ты их знаешь?

— Сейчас же сообщите Грязнову, что я здесь,— не ответив, потребовал мальчишка,— или я сам позвоню!

Отобрав у него трубку, я размышлял еще с полминуты, решившись, крутанул ручку, и меня снова соединили с Масловым.

— Восьмой беспокоит. Товарищ капитан, прошу меня выслушать,— твердо заявил я, стараясь подавить волнение.— Я опять по поводу Бондарева. Он знает подполковника Грязнова и капитана Холина.

— Откуда он их знает? — спросил Маслов устало.

— Он не говорит. Я считаю нужным доложить о нем подполковнику Грязнову.

— Если считаешь, что нужно,— докладывай,— с каким-то безразличием сказал Маслов.— Ты вообще считаешь возможным лезть к начальству со всякой ерундой. Лично я не вижу оснований беспокоить командование, тем более ночью. Не солидно!

— Так разрешите мне позвонить?

— Я тебе ничего не разрешаю, и ты меня не впутывай... А впрочем, можешь позвонить Дунаеву. Я с ним только что разговаривал, он не спит.

Я соединился с майором Дунаевым, начальником разведки дивизии, и сообщил, что у меня находится Бондарев и что он требует, чтобы о нем было немедленно доложено подполковнику Грязнову...

— Ясно,— прервал меня Дунаев.— Ожидайте. Я доложу.

Минуты через две резко и требовательно зазуммерил телефон.

— Восьмой?.. Говорите с «Волгой»,— сказал телефонист.

— Гальцев?.. Здорово, Гальцев! — Я узнал низкий, грубоватый голос подполковника Грязнова; я не мог его не узнать: Грязнов до лета был начальником разведки нашей дивизии, я же в то время был офицером связи и сталкивался с ним постоянно.— Бондарев у тебя?

— Здесь, товарищ подполковник!

— Молодец! — Я не понял сразу, к кому относилась эта похвала: ко мне или к мальчишке.— Слушай внимательно! Выгони всех из землянки, чтобы его не видели и не приставали. Никаких расспросов и о нем — никаких разговоров! Вник?.. От меня передай ему привет. Холин выезжает за

ним; думаю, часа через три будет у тебя. А пока создай все условия! Обращайся поделикатней, учти: он парень с норовом. Прежде всего дай ему бумаги и чернила или карандаш. Что он напишет — в пакет и сейчас же с надежным человеком отправь в штаб полка. Я дам команду, они немедля доставят мне. Создашь ему все условия и не лезь с разговорами. Дай горячей воды помыться, накорми, и пусть спит. Это наш парень. Вник?

— Так точно! — ответил я, хотя мне многое было неясно.

* * *

— Кушать хочешь? — спросил я прежде всего.

— Потом,— промолвил мальчик, не подымая глаз.

Тогда я положил перед ним на стол бумагу, конверты и ручку, поставил чернила, затем, выйдя из землянки, приказал Васильеву отправляться на пост и, вернувшись, запер дверь на крючок.

Мальчик сидел на краю скамейки спиной к раскалившейся докрасна печке; мокрые порты, брошенные им ранее в угол, лежали у его ног. Из заколотого булавкой кармана он вытащил грязный носовой платок, развернув его, высыпал на стол и разложил в отдельные кучки зернышки пшеницы и ржи, семечки подсолнуха и хвою — иглы сосны и ели. Затем с самым сосредоточенным видом пересчитал, сколько было в каждой кучке, и записал на бумагу.

Когда я подошел к столу, он быстро перевернул лист и посмотрел на меня неприязненным взглядом.

— Да я не буду, не буду смотреть,— поспешно заверил я.

Позвонив в штаб батальона, я приказал немедленно нагреть два ведра воды и доставить в землянку вместе с большим казаном. Я уловил удивление в голосе сержанта, повторявшего в трубку мое приказание. Я заявил ему, что хочу мыться, а была половина второго ночи, и, наверно, он, как и Маслов, подумал, что я выпил или же мне делать нечего. Я приказал также подготовить Царивного — расторопного бойца из пятой роты — для отправки связным в штаб полка.

Разговаривая по телефону, я стоял боком к столу и уголком глаза видел, что мальчик разграфил лист бумаги вдоль и поперек и в крайней левой графе по вертикали выводил крупным детским почерком: «...2... 4,5...» Я не знал и впоследствии так и не узнал, что означали эти цифры и что он затем написал.

Он писал долго, около часа, царапая пером бумагу, сопя и прикрывая лист рукавом; пальцы у него были с коротко обгрызенными ногтями, в ссадинах; шея и уши — давно не мытые. Время от времени останавливаясь, он нервно покусывал губы, думал или же припоминал, посапывал и снова писал. Уже была принесена горячая и холодная вода — не впустив никого в землянку, я сам занес ведра и казан,— а он все еще скрипел пером; на всякий случай я поставил ведро с водой на печку.

Закончив, он сложил исписанные листы пополам, всунул в конверт и, послюнив, тщательно заклеил. Затем, взяв конверт побольше размером, вложил в него первый и заклеил так же тщательно.

Я вынес пакет связному — он ожидал близ землянки — и приказал:

— Немедленно доставьте в штаб полка. По тревоге! Об исполнении доложите Краеву.

Затем я вернулся, разбавил воду в одном из ведер, сделав ее не такой горячей. Скинув ватник, мальчишка влез в казан и начал мыться.

Я чувствовал себя перед ним виноватым. Он не отвечал на вопросы, действуя, несомненно, в соответствии с инструкциями, а я кричал на него, угрожал, стараясь выпытать то, что знать мне было не положено: как известно, у разведчиков имеются свои, недоступные даже старшим штабным офицерам тайны.

Теперь я готов был ухаживать за ним как нянька; мне даже захотелось вымыть его самому, но я не решался: он не смотрел в мою сторону и, словно не замечая меня, держался так, будто, кроме него, в землянке никого не было.

— Давай я спину тебе потру,— не выдержав, предложил я нерешительно.

— Я сам! — отрезал он.

Мне оставалось стоять у печки, держа в руках чистое полотенце и бязевую рубашку — он должен был ее на-

деть,— и помешивать в котелке так кстати не тронутый мною ужин: пшенную кашу с мясом.

Вымывшись, он оказался светловолосым и белокожим; только лицо и кисти рук были потемней от ветра или же от загара. Уши у него были маленькие, розовые, нежные и, как я заметил, асимметричные: правое было прижато, левое же топырилось. Примечательным в его скуластом лице были глаза, большие, зеленоватые, удивительно широко расставленные; мне, наверно, никогда не доводилось видеть глаз, расставленных так широко.

Он вытерся досуха и, взяв из моих рук нагретую у печки рубашку, надел ее, аккуратно подвернув рукава, и уселся к столу. Настороженность и отчужденность уже не проглядывали в его лице; он смотрел устало, был строг и задумчив.

Я ожидал, что он набросится на еду, однако он зацепил ложкой несколько раз, пожевал вроде без аппетита и отставил котелок; затем так же молча выпил кружку очень сладкого — я не пожалел сахара — чаю с печеньем из моего доппайка и поднялся, вымолвив тихо:

— Спасибо.

Я меж тем успел вынести казан с темной-темной, лишь сверху сероватой от мыла водой и взбил подушку на нарах. Мальчик забрался в мою постель и улегся лицом к стенке, подложив ладошку под щеку. Все мои действия он воспринимал как должное; я понял, что он не первый раз возвращается с «той стороны» и знает, что, как только о его прибытии станет известно в штабе армии, немедленно будет отдано приказание «создать все условия»... Накрыв его двумя одеялами, я тщательно подоткнул их со всех сторон, как это делала когда-то для меня моя мать...

2

Стараясь не шуметь, я собрался — надел каску, накинул поверх шинели плащ-палатку, взял автомат — и тихонько вышел из землянки, приказав часовому без меня в нее никого не пускать.

Ночь была ненастная. Правда, дождь уже перестал, но северный ветер дул порывами, было темно и холодно.

Землянка моя находилась в подлеске, метрах в семистах от Днепра, отделявшего нас от немцев. Противоположный, возвышенный берег командовал, и наш передний край был отнесен в глубину, на более выгодный рубеж, непосредственно же к реке выставлялись охраняющие подразделения.

Я пробирался в темноте подлеском, ориентируясь в основном по дальним вспышкам ракет на вражеском берегу,— ракеты взлетали то в одном, то в другом месте по всей линии немецкой обороны. Ночная тишина то и дело всплескивалась отрывистыми пулеметными очередями: по ночам немцы методично — как говорил наш командир полка, «для профилактики»,— каждые несколько минут обстреливали нашу прибрежную полосу и самую реку.

Выйдя к Днепру, я направился к траншее, где располагался ближайший пост, и приказал вызвать ко мне командира взвода охранения.

Когда он, запыхавшийся, явился, я двинулся вместе с ним вдоль берега. Он сразу спросил меня про «пацана», быть может решив, что мой приход связан с задержанием мальчишки. Не ответив, я тотчас завел разговор о другом, но сам мыслями невольно все время возвращался к мальчику.

Я вглядывался в скрываемый темнотой полукилометровый плес Днепра, и мне почему-то никак не верилось, что маленький Бондарев с того берега. Кто были люди, переправившие его, и где они? Где лодка? Неужто посты охранения просмотрели ее? Или, может, его спустили в воду на значительном расстоянии от берега? И как же решились спустить в холодную осеннюю воду такого худенького, малосильного мальчишку?..

Наша дивизия готовилась форсировать Днепр. В полученном мною наставлении — я учил его чуть ли не наизусть,— в этом, рассчитанном на взрослых, здоровых мужчин наставлении было сказано: «...если же температура воды ниже $+15°$, то переправа вплавь даже для хорошего пловца исключительно трудна, а через широкие реки невозможна». Это если ниже $+15°$, а если примерно $+5°$?

Нет, несомненно, лодка подходила близко к берегу, но

почему же тогда ее не заметили? Почему, высадив мальчишку, она ушла потихоньку, так и не обнаружив себя? Я терялся в догадках.

Между тем охранение бодрствовало. Только в одной вынесенной к самой реке ячейке мы обнаружили дремавшего бойца. Он «кемарил» стоя, привалившись к стенке окопа, каска сползла ему на глаза. При нашем появлении он схватился за автомат и спросонок чуть было не прошил нас очередью. Я приказал немедля заменить его и наказать, отругав перед этим вполголоса и его самого, и командира отделения.

В окопе на правом фланге, закончив обход, мы присели в нише под бруствером и закурили с бойцами. Их было четверо в этом большом, с пулеметной площадкой окопе.

— Товарищ старший лейтенант, как там, с огольцом разобрались? — глуховатым голосом спросил меня один; он дежурил, стоя у пулемета, и не курил.

— А что такое? — поинтересовался я, настораживаясь.

— Так. Думается, не просто это. В такую ночку последнего пса из дома не выгонят, а он в реку полез. Какая нужда?.. Он что, лодку шукал, на тот берег хотел? Зачем?.. Мутный оголец — его хорошенько проверить надо! Его прижать покрепче, чтоб заговорил. Чтоб всю правду из него выдавить.

— Да, мутность есть вроде,— подтвердил другой не очень уверенно.— Молчит и смотрит, говорят, волчонком. И раздет почему?

— Мальчишка из Новоселок,— неторопливо затянувшись, соврал я (Новоселки было большое, наполовину сожженное село километрах в четырех за нами).— У него немцы мать угнали, места себе не находит... Тут и в реку полезешь.

— Вон оно что!..

— Тоскует, бедолага,— понимающе вздохнул пожилой боец, что курил, присев на корточки против меня; свет цигарки освещал его широкое темное, поросшее щетиной лицо.— Страшней нет, чем тоска! А Юрлов все дурное думает, все гадкое в людях выискивает. Нельзя так,— мягко и рассудительно сказал он, обращаясь к бойцу, стоявшему у пулемета.

— Бдительный я,— глухим голосом упрямо объявил

Юрлов.— И ты меня не укоряй, не переделаешь! Я доверчивых и добрых терпеть не могу. Через эту доверчивость от границы до Москвы земля кровью напоена!.. Хватит!.. А в тебе доброты и доверия под самую завязку, одолжил бы немцам чуток, души помазать!.. Вы, товарищ старший лейтенант, вот что скажите: где одёжа его? И чего он все ж таки в воде делал? Странно все это; я считаю — подозрительно!..

— Ишь, спрашивает, как с подчиненного,— усмехнулся пожилой.— Дался тебе этот мальчишка, будто без тебя не разберутся. Ты бы лучше спросил, что командование насчет водочки думает. Стылость, спасу нет, а погреться нечем. Скоро ли давать начнут, спроси. А с мальчишкой и без нас разберутся...

...Посидев с бойцами еще, я вспомнил, что скоро должен приехать Холин, и, простившись, двинулся в обратный путь. Провожать себя я запретил и скоро пожалел об этом; в темноте я заблудился, как потом оказалось, забрал правее и долго блукал по кустам, останавливаемый резкими окриками часовых. Лишь минут через тридцать, прозябнув на ветру, я добрался к землянке.

К моему удивлению, мальчик не спал.

Он сидел в одной рубашке, свесив ноги с нар. Печка давно утухла, и в землянке было довольно прохладно — легкий пар шел изо рта.

— Еще не приехали? — в упор спросил мальчик.

— Нет. Ты спи, спи. Приедут — я тебя разбужу.

— А он дошел?

— Кто он? — не понял я.

— Боец. С пакетом.

— Дошел,— сказал я, хотя не знал: отправив связного, я забыл о нем и о пакете.

Несколько мгновений мальчик в задумчивости смотрел на свет гильзы и неожиданно, как мне показалось, обеспокоенно спросил:

— Вы здесь были, когда я спал? Я во сне не разговариваю?

— Нет, не слышал. А что?

— Так. Раньше не говорил. А сейчас — не знаю. Нервеность во мне какая-то,— огорченно признался он.

Вскоре приехал Холин. Рослый темноволосый красавец



лет двадцати семи, он ввалился в землянку с большим немецким чемоданом в руке. С ходу сунув мне мокрый чемодан, он бросился к мальчику:

— Иван!

При виде Холина мальчик вмиг оживился и улыбнулся. Улыбнулся впервые, обрадованно, совсем по-детски.

Это была встреча больших друзей — несомненно, в эту минуту я был здесь лишним. Они обнялись, как взрослые; Холин поцеловал мальчика несколько раэ, отступил на шаг и, тиская его узкие, худенькие плечи, разглядывал его восторженными глазами и говорил:

— ...Катасоныч ждет тебя с лодкой у Диковки, а ты здесь...

— В Диковке немцев — к берегу не подойдешь,—

сказал мальчик, виновато улыбаясь.— Я плыл от Сосновки. Знаешь, на середке выбился да еще судорога прихватила — думал, конец...

— Так ты что — вплавь?! — изумленно вскричал Холин.

— На полене. Ты не ругайся — так пришлось. Лодки наверху и все охраняются. А ваш тузик в такой темноте, думаешь, просто сыскать? Враз застукают! Знаешь, выбился, а полено крутится, выскальзывает, и еще ногу прихватило, ну, думаю: край! Течение!.. Понесло, понесло... не знаю, как выплыл.

Сосновка был хутор выше по течению, на том, вражеском берегу,— мальчика снесло без малого на три километра. Было просто чудом, что ненастной ночью, в холодной октябрьской воде, такой слабый и маленький, он все же выплыл...

Холин, обернувшись, энергичным рывком сунул мне свою мускулистую руку, затем, взяв чемодан, легко поставил его на нары и, щелкнув замками, попросил:

— Пойди подгони машину поближе, мы не смогли подъехать. И прикажи часовому никого сюда не впускать и самому не заходить — нам соглядатаи ни к чему. Вник?..

Это «вник» подполковника Грязнова привилось не только в нашей дивизии, но и в штабе армии: вопросительное «Вник?» и повелительное «Вникни!».

Когда минут через десять, не сразу отыскав машину и показав шоферу, как подъехать к землянке, я вернулся, мальчишка совсем преобразился.

На нем была маленькая, сшитая, как видно, специально на него, шерстяная гимнастерка с орденом Отечественной войны, новенькой медалью «За отвагу» и белоснежным подворотничком, темно-синие шаровары и аккуратные яловые сапожки. Своим видом он теперь напоминал воспитанника — их в полку было несколько,— только на гимнастерке не было погон; да и выглядели воспитанники несравненно более здоровыми и крепкими.

Чинно сидя на табурете, он разговаривал с Холиным. Когда я вошел, они умолкли, и я даже подумал, что Холин послал меня к машине, чтобы поговорить без свидетелей.

— Ну, где ты пропал? — однако сказал он, выказывая недовольство.— Давай еще кружку и садись.

На стол, застеленный свежей газетой, уже была выложена привезенная им снедь: сало, копченая колбаса, две банки консервов, пачка печенья, два каких-то кулька и фляжка в суконном чехле.

На нарах лежал дубленый мальчиковый полушубок, новенький, очень нарядный, и офицерская шапка-ушанка.

Холин «по-интеллигентному», тонкими ломтиками нарезал хлеб, затем налил из фляжки водку в три кружки: мне и себе до половины, и мальчику на палец.

— Со свиданьицем! — весело, с какой-то удалью проговорил Холин, поднимая кружку.

— За то, чтоб я всегда возвращался,— задумчиво сказал мальчик.

Холин, быстро взглянув на него, предложил:

— За то, чтобы ты поехал в суворовское училище и стал офицером.

— Нет, это потом! — запротестовал мальчик.— А пока война — за то, чтоб я всегда возвращался! — упрямо повторил он.

— Ладно, не будем спорить. За твое будущее. За победу!

Мы чокнулись и выпили. К водке мальчишка был непривычен: выпив, он поперхнулся, слезы проступили у него на глазах, он поспешил украдкой смахнуть их. Как и Холин, он ухватил кусок хлеба и долго нюхал его, потом съел, медленно разжевывая.

Холин проворно делал бутерброды и подкладывал мальчику; тот взял один и ел медленно, будто неохотно.

— Ты ешь давай, ешь! — приговаривал Холин, закусывая сам с аппетитом.

— Отвык помногу,— вздохнул мальчик.— Не могу.

К Холину он обращался на «ты» и смотрел только на него, меня же, казалось, вовсе не замечал. После водки на меня и Холина, как говорится, «едун напал» — мы энергично работали челюстями; мальчик же, съев два небольших бутерброда, вытер платком руки и рот, промолвив:

— Хорош.

Тогда Холин высыпал перед ним на стол шоколадные конфеты в разноцветных обертках. При виде конфет лицо мальчика не оживилось радостно, как это бывает у детей его возраста. Он взял одну не спеша, с таким равнодушием,

будто он каждый день вдоволь ел шоколадные конфеты, развернул ее, откусил кусочек и, сдвинув конфеты на середку стола, предложил нам:

— Угощайтесь.

— Нет, брат,— отказался Холин.— После водки не в цвет.

— Тогда поехали,— вдруг сказал мальчик, поднимаясь и не глядя больше на стол.— Подполковник ждет меня, чего же сидеть?.. Поехали! — потребовал он.

— Сейчас поедем,— с некоторой растерянностью проговорил Холин. В руке у него была фляжка, он собирался, очевидно, налить еще мне и себе, но, увидев, что мальчик встал, положил фляжку на место.— Сейчас поедем,— повторил он невесело и поднялся.

Меж тем мальчик примерил шапку.

— Вот черт, велика!

— Меньше не было. Я сам выбирал,— словно оправдываясь, пояснил Холин.— Но нам только доехать, что-нибудь придумаем...

Он с сожалением оглядел стол, уставленный закусками, поднял фляжку, поболтал ею, огорченно посмотрел на меня и вздохнул:

— Сколько же добра пропадает, а!

— Оставь ему! — сказал мальчик с выражением недовольства и пренебрежения.— Ты что, голодный?

— Ну что ты!.. Просто фляжка — табельное имущество,— отшутился Холин.— И конфеты ему ни к чему...

— Не будь жмотом!

— Придется... Эх, где наше не пропадало, кто от нас не плакал!.. — снова вздохнул Холин и обратился ко мне: — Убери часового от землянки. И вообще посмотри. Чтоб нас никто не видел.

Накинув набухшую плащ-палатку, я подошел к мальчику. Застегивая крючки на его полушубочке, Холин похвастал:

— А в машине сена — целая копна! Я одеяла взял, подушки, сейчас завалимся — и до самого штаба.

— Ну, Ванюша, прощай! — Я протянул руку мальчику.

— Не прощай, а до свидания! — строго поправил он,

сунув мне крохотную узенькую ладошку и одарив меня взглядом исподлобья.

Разведотдельский «додж» с поднятым тентом стоял шагах в десяти от землянки; я не сразу разглядел его.

— Родионов,— тихо позвал я часового.

— Я, товарищ старший лейтенант! — послышался совсем рядом за моей спиной хриплый, простуженный голос.

— Идите в штабную землянку. Я скоро вас вызову.

— Слушаюсь! — Боец исчез в темноте.

Я обошел кругом — никого не было. Шофер «доджа» в плащ-палатке, одетой поверх полушубка, не то спал, не то дремал, навалившись на баранку.

Я подошел к землянке, ощупью нашел дверь и приоткрыл ее.

— Давайте!

Мальчик и Холин с чемоданом в руке скользнули к машине; зашуршал брезент, послышался короткий разговор вполголоса — Холин разбудил водителя,— заработал мотор, и «додж» тронулся.

3

Старшина Катасонов — командир взвода из разведроты дивизии — появился у меня три дня спустя.

Ему за тридцать, он невысок и худощав. Рот маленький, с короткой верхней губой, нос небольшой, приплюснутый, с крохотными ноздрями, глазки голубовато-серые, живые. Симпатичным, выражающим кротость лицом Катасонов походит на кролика. Он скромен, тих и неприметен. Говорит, заметно шепелявя,— может, поэтому стеснителен и на людях молчалив. Не зная, трудно представить, что это один из лучших в нашей армии охотников за «языками». В дивизии его зовут ласково: «Катасоныч».

При виде Катасонова мне снова вспоминается маленький Бондарев — эти дни я не раз думал о нем. И я решаю при случае расспросить Катасонова о мальчике: он должен знать. Ведь это он, Катасонов, в ту ночь ждал с лодкой у Диковки, где «немцев столько, что к берегу не подойдешь».

Войдя в штабную землянку, он, приложив ладонь к су-



конной с малиновым кантом пилотке, негромко здоровается и становится у дверей, не сняв вещмешка и терпеливо ожидая, пока я распекаю писарей.

Они зашились, а я зол и раздражен: только что прослушал по телефону нудное поучение Маслова. Он звонит мне по утрам чуть ли не ежедневно и все об одном: требует своевременного, а подчас и досрочного представления бесконечных донесений, сводок, форм и схем. Я даже подозреваю, что часть отчетности придумывается им самим: он редкостный любитель писанины.

Послушав его, можно подумать, что, если я своевременно буду представлять все эти бумаги в штаб полка, война будет успешно завершена в ближайшее время. Все дело, выходит, во мне. Маслов требует, чтобы я «лично

вкладывал душу» в отчетность. Я стараюсь и, как мне кажется, «вкладываю», но в батальоне нет адъютантов, нет и опытного писаря: мы, как правило, запаздываем, и почти всегда оказывается, что мы в чем-то напутали. И я в который уж раз думаю, что воевать зачастую проще, чем отчитываться, и с нетерпением жду: когда же пришлют настоящего командира батальона — пусть он отдувается!

Я ругаю писарей, а Катасонов, зажав в руке пилотку, стоит тихонько у дверей и ждет.

— Ты чего, ко мне? — оборачиваясь к нему, наконец спрашиваю я, хотя мог бы и не спрашивать: Маслов предупредил меня, что придет Катасонов, приказал допустить его на НП[1] и оказывать содействие.

— К вам,— говорит Катасонов, застенчиво улыбаясь.— Немца бы посмотреть...

— Ну что ж... посмотри,— помедлив для важности, милостивым тоном разрешаю я и приказываю посыльному проводить Катасонова на НП батальона.

Часа два спустя, отослав донесение в штаб полка, я отправляюсь снять пробу на батальонной кухне и кустарником пробираюсь на НП.

Катасонов в стереотрубу «смотрит немца». И я тоже смотрю, хотя мне все знакомо.

За широким плесом Днепра — сумрачного, щербатого на ветру — вражеский берег. Вдоль кромки воды — узкая полоска песка; над ней террасный уступ высотой не менее метра, и далее отлогий, кое-где поросший кустами глинистый берег; ночью он патрулируется дозорами вражеского охранения. Еще дальше, высотой метров в восемь, крутой, почти вертикальный обрыв. По его верху тянутся траншеи переднего края обороны противника. Сейчас в них дежурят лишь наблюдатели, остальные же отдыхают, укрывшись в блиндажах. К ночи немцы расползутся по окопам, будут постреливать в темноту и до утра пускать осветительные ракеты.

У воды на песчаной полоске того берега — пять трупов. Три из них, разбросанные порознь в различных позах, несомненно, тронуты разложением — я наблюдаю их вторую неделю. А два свежих усажены рядышком, спиной

[1] Наблюдательный пункт.

к уступу, прямо напротив НП, где я нахожусь. Оба раздеты и разуты, на одном — тельняшка, ясно различимая в стереотрубу.

— Ляхов и Мороз,— не отрываясь от окуляров, говорит Катасонов.

Оказывается, это его товарищи, сержанты из разведроты дивизии. Продолжая наблюдать, он тихим шепелявым голосом рассказывает, как это случилось.

...Четверо суток назад разведгруппа — пять человек — ушла на тот берег за контрольным пленным. Переправлялись ниже по течению. «Языка» взяли без шума, но при возвращении были обнаружены немцами. Тогда трое с захваченным фрицем стали отступать к лодке, что и удалось (правда, по дороге один погиб, подорвавшись на мине, а «язык» уже в лодке был ранен пулеметной очередью). Эти же двое — Ляхов (в тельняшке) и Мороз — залегли и, отстреливаясь, прикрывали отход товарищей.

Убиты они были в глубине вражеской обороны; немцы, раздев, выволокли их ночью к реке и усадили на виду, нашему берегу в назидание.

— Забрать их надо бы...— закончив немногословный рассказ, вздыхает Катасонов.

Когда мы с ним выходим из блиндажа, я спрашиваю о маленьком Бондареве.

— Ванюшка-то?..— Катасонов смотрит на меня, и лицо его озаряется нежной, необыкновенно теплой улыбкой.— Чудный малец! Только характерный, беда с ним! Вчера прямо баталия была.

— Что такое?

— Да разве ж война — занятие для него?.. Его в школу посылают, в суворовскую. Приказ командующего. А он уперся — и ни в какую. Одно твердит: после войны. А теперь воевать, мол, буду, разведчиком.

— Ну, если приказ командующего, не очень-то повоюет.

— Э-э, разве его удержишь! Ему ненависть душу жжет!.. Не пошлют — сам уйдет. Уже уходил раз...— Вздохнув, Катасонов смотрит на часы и спохватывается: — Ну, заболтался совсем. На НП артиллеристов я так пройду? — указывая рукой, спрашивает он.

Спустя мгновения, ловко отгибая ветви и бесшумно ступая, он уже скользит подлеском.

* * *

С наблюдательных пунктов нашего и соседнего справа третьего батальона, а также с НП дивизионных артиллеристов Катасонов в течение двух суток «смотрит немца», делая заметки и кроки в полевом блокноте. Мне докладывают, что всю ночь он провел на НП у стереотрубы, там же он находится и утром, и днем, и вечером, и я невольно ловлю себя на мысли: когда же он спит?

На третий день утром приезжает Холин. Он вваливается в штабную землянку и шумно здоровается со всеми. Вымолвив: «Подержись и не говори, что мало!» — стискивает мне руку так, что хрустят суставы пальцев и я изгибаюсь от боли.

— Ты мне понадобишься! — предупреждает он, затем, взяв трубку, звонит в третий батальон и разговаривает с его командиром капитаном Рябцевым.

— ...к тебе подъедет Катасонов — поможешь ему!.. Он сам объяснит... И покорми в обед горяченьким!.. Слушай дальше: если меня будут спрашивать артиллеристы или еще кто, передай, что я буду у вас в штабе после тринадцати ноль-ноль,— наказывает Холин.— И ты мне тоже потребуешься! Подготовь схему обороны и будь на месте...

Он говорит Рябцеву «ты», хотя Рябцев лет на десять старше его. И к Рябцеву и ко мне он обращается как к подчиненным, хотя начальником для нас не является. У него такая манера; точно так же он разговаривает и с офицерами в штабе дивизии, и с командиром нашего полка. Конечно, для всех нас он представитель высшего штаба, но дело не только в этом. Как и многие разведчики, он, чувствуется, убежден, что разведка — самое главное в боевых действиях войск и поэтому все обязаны ему помогать.

И теперь, положив трубку, он, не спросив даже, чем я собираюсь заниматься и есть ли у меня дела в штабе, приказным тоном говорит:

— Захвати схему обороны, и пойдем посмотрим твои войска...

Его обращение в повелительной форме мне не нравится, но я немало наслышан от разведчиков о нем, о его

бесстрашии и находчивости, и я молчу, прощая ему то, что другому бы не смолчал. Ничего срочного у меня нет, однако я нарочно заявляю, что должен задержаться на некоторое время в штабе, и он покидает землянку, сказав, что обождет меня у машины.

Спустя примерно четверть часа, просмотрев поденное дело[1] и стрелковые карточки, я выхожу. Разведотдельский «додж» с кузовом, затянутым брезентом, стоит невдалеке под елями. Шофер с автоматом на плече расхаживает в стороне. Холин сидит за рулем, развернув на баранке крупномасштабную карту; рядом — Катасонов со схемой обороны в руках. Они разговаривают; когда я подхожу, замолкнув, поворачивают головы в мою сторону. Катасонов поспешно выскакивает из машины и приветствует меня, по обыкновению стеснительно улыбаясь.

— Ну ладно, давай! — говорит ему Холин, сворачивая карту и схему, и также вылезает.— Посмотрите все хорошенько и отдыхайте! Часика через два-три я подойду...

Одной из многих тропок я веду Холина к передовой. «Додж» отъезжает в сторону третьего батальона. Настроение у Холина приподнятое, он шагает, весело насвистывая. Тихий, холодный день; так тихо, что можно, кажется, забыть о войне. Но она вот, впереди: вдоль опушки свежеотрытые окопы, а слева спуск в ход сообщения — траншея полного профиля, перекрытая сверху и тщательно замаскированная дерном и кустарником, ведет к самому берегу. Ее длина более ста метров.

При некомплекте личного состава в батальоне отрыть ночами такой ход (причем силами одной лишь роты!) было не так-то просто. Я рассказываю об этом Холину, ожидая, что он оценит нашу работу, но он, глянув мельком, интересуется, где расположены батальонные наблюдательные пункты — основной и вспомогательные. Я показываю.

— Тишина-то какая! — не без удивления замечает он и, став за кустами близ опушки, в цейсовский бинокль рассматривает Днепр и берега — отсюда, с небольшого пригорка, видно все как на ладошке. Мои же «войска» его, по-видимому, мало интересуют.

[1] Дело, куда в батальоне подшиваются все приказы, распоряжения и приказания штаба полка.

Он смотрит, а я стою сзади без дела и, вспомнив, спрашиваю:

— А мальчик, что был у меня, кто он все-таки? Откуда?

— Мальчик? — рассеянно переспрашивает Холин, думая о чем-то другом.— А-а, Иван!.. Много будешь знать — скоро состаришься! — отшучивается он и предлагает: — Ну что ж, давай опробуем твое метро!

В траншее темно. Кое-где оставлены щели для света, но они прикрыты ветками. Мы двигаемся в полутьме, ступаем чуть пригнувшись, и кажется — конца не будет этому сырому, мрачному ходу. Но вот впереди светает, еще немного — и мы в окопе боевого охранения, метрах в пятнадцати от Днепра.

Молодой сержант, командир отделения, докладывает мне, искоса разглядывая широкогрудого, представительного Холина.

Берег песчаный, но в окопе по щиколотку жидкой грязи, верно, потому, что дно этой траншеи ниже уровня воды в реке.

Я знаю, что Холин — под настроение — любитель поговорить и побалагурить. Вот и теперь, достав пачку «Беломора», он угощает меня и бойцов папиросами и, прикуривая сам, весело замечает:

— Ну и жизнь у вас! На войне, а вроде ее и нет совсем. Тишь да гладь — божья благодать!..

— Курорт! — мрачно подтверждает пулеметчик Чупахин, долговязый, сутулый боец в ватных куртке и брюках. Стянув с головы каску, он надевает ее на черенок лопаты и приподнимает над бруствером. Проходит несколько секунд — выстрелы доносятся с того берега, и пули тонко посвистывают над головой.

— Снайпер? — спрашивает Холин.

— Курорт,— угрюмо повторяет Чупахин.— Грязевые ванны под присмотром любящих родственников...

...Той же темной траншеей мы возвращаемся к НП. То, что немцы бдительно наблюдают за нашим передним краем, Холину не понравилось. Хотя это вполне естественно, что противник бодрствует и ведет непрерывное наблюдение, Холин вдруг делается хмурым и молчаливым.

На НП он в стереотрубу минут десять рассматривает правый берег, задает наблюдателям несколько вопросов, листает их журнал и ругается, что они якобы ничего не знают, что записи скудны и не дают представления о режиме и поведении противника. Я с ним не согласен, но молчу.

— Ты знаешь, кто это там, в тельняшке? — спрашивает он меня, имея в виду убитых разведчиков на том берегу.

— Знаю.

— И что же, не можешь их вытащить? — говорит он с недовольством и презрительно.— На час дела! Все указаний свыше ждешь?

Мы выходим из блиндажа, и я спрашиваю:

— Чего вы с Катасоновым высматриваете? Поиск, что ли, готовите?

— Подробности в афишах! — хмуро бросает Холин, не взглянув на меня, и направляется чащобой в сторону третьего батальона. Я, не раздумывая, следую за ним.

— Ты мне больше не нужен! — вдруг объявляет он, не оборачиваясь. И я останавливаюсь, растерянно смотрю ему в спину и поворачиваю назад, к штабу.

«Ну, подожди же!..» Бесцеремонность Холина раздражила меня. Я обижен, зол и ругаюсь вполголоса. Проходящий в стороне боец, поприветствовав, оборачивается и смотрит на меня удивленно.

А в штабе писарь докладывает:

— Майор два раза звонили. Приказали вам доложиться...

Я звоню командиру полка.

— Как там у тебя? — прежде всего спрашивает он своим медлительным, спокойным голосом.

— Нормально, товарищ майор.

— Там к тебе Холин приедет... Сделай все, что потребуется, и оказывай ему всяческое содействие...

«Будь он неладен, этот Холин!..»

Меж тем майор, помолчав, добавляет:

— Это приказание «Волги». Мне сто первый звонил...

«Волга» — штаб армии; «сто первый» — командир нашей дивизии полковник Воронов. «Ну и пусть! — думаю я.— А бегать за Холиным я не буду! Что попросит —

сделаю! Но ходить за ним и напрашиваться — это уж, как говорится, извини-подвинься!»

И я занимаюсь своими делами, стараясь не думать о Холине.

После обеда я захожу в батальонный медпункт. Он размещен в двух просторных блиндажах на правом фланге, рядом с третьим батальоном. Такое расположение весьма неудобно, но дело в том, что и землянки и блиндажи, в которых мы размещаемся, отрыты и оборудованы еще немцами,— понятно, что о нас они менее всего думали.

Новая, прибывшая в батальон дней десять назад военфельдшер — статная, лет двадцати, красивая блондинка с ярко-голубыми глазами — в растерянности прикладывает руку к... марлевой косынке, стягивающей пышные волосы, и пытается мне доложить. Это не рапорт, а робкое, невнятное бормотание; но я ей ничего не говорю. Ее предшественник, старший лейтенант Востриков — старенький, страдавший астмой военфельдшер,— погиб недели две назад на поле боя. Он был опытен, смел и расторопен. А она?.. Пока я ею недоволен.

Военная форма — стянутая в талии широким ремнем, отутюженная гимнастерочка, юбка, плотно облегающая крепкие бедра, и хромовые сапожки на стройных ногах — все ей очень идет: военфельдшер так хороша, что я стараюсь на нее не смотреть.

Между прочим, она мне землячка, тоже из Москвы. Не будь войны, я, встретив ее, верно б влюбился и, ответь она мне взаимностью, был бы счастлив без меры, бегал бы вечером на свидания, танцевал бы с ней в парке Горького и целовался где-нибудь в Нескучном... Но, увы, война! Я исполняю обязанности командира батальона, а она для меня всего-навсего военфельдшер. Причем не справляющийся со своими обязанностями.

И я неприязненным тоном говорю ей, что в ротах опять «форма двадцать»[1], а белье как следует не прожаривается и помывка личного состава до сих пор должным образом не организована. Я предъявляю ей еще ряд претензий и требую, чтобы она не забывала, что она командир, не

---

[1] Проверка по «форме двадцать» — осмотр личного состава подразделения на вшивость.

бралась бы за все сама, а заставляла работать ротных санинструкторов и санитаров.

Она стоит передо мной, вытянув руки по швам и опустив голову. Тихим, прерывистым голосом без конца повторяет: «Слушаюсь... слушаюсь... слушаюсь»,— заверяет меня, что старается и скоро «все будет хорошо».

Вид у нее подавленный, и мне становится ее жаль. Но я не должен поддаваться этому чувству — я не имею права ее жалеть. В обороне она терпима, но впереди форсирование Днепра и нелегкие наступательные бои — в батальоне будут десятки раненых, и спасение их жизней во многом будет зависеть от этой девушки с погонами лейтенанта медслужбы.

В невеселом раздумье я выхожу из землянки, военфельдшер — следом.

Вправо, шагах в ста от нас, бугор, на котором устроен НП дивизионных артиллеристов. С тыльной стороны бугра, у подножия — группа офицеров: Холин, Рябцев, знакомые мне командиры батарей из артполка, командир минометной роты третьего батальона и еще два неизвестных мне офицера. У Холина и еще у двух в руках карты или схемы. Очевидно, как я и догадывался, подготавливается поиск, и проведен он будет, судя по всему, на участке третьего батальона.

Заметив нас, офицеры оборачиваются и смотрят в нашу сторону. Рябцев, артиллеристы и минометчик приветственно машут мне руками; я отвечаю тем же. Я ожидаю, что Холин окликнет, позовет меня — ведь я должен «оказывать ему всяческое содействие», но он стоит ко мне боком, показывая офицерам что-то на карте.

И я оборачиваюсь к военфельдшеру:

— Даю вам два дня. Навести в санслужбе порядок и доложить!

Она что-то невнятно бормочет под нос. Сухо козырнув, я отхожу, решив при первой возможности добиваться ее откомандирования. Пусть пришлют другого фельдшера. И обязательно мужчину.

До вечера я нахожусь в ротах: осматриваю землянки и блиндажи, проверяю оружие, беседую с бойцами, вернувшимися из медсанбата, и забиваю с ними «козла».

Уже в сумерках я возвращаюсь к себе в землянку и об-

наруживаю там Холина. Он спит, развалясь на моей постели, в гимнастерке и шароварах. На столе записка: «Разбуди в 18.30. Холин».

Я пришел как раз вовремя и бужу его. Открыв глаза, он садится на нарах, позевывая, потягивается и говорит:

— Молодой, молодой, а губа-то у тебя не дура!

— Чего? — не поняв, спрашиваю я.

— В бабах, говорю, толк понимаешь. Фельдшерица подходя-явая! — Пройдя в угол, где подвешен рукомойник, Холин начинает умываться.— Только днем ты к ней не ходи,— советует он,— авторитет подмочишь.

— Иди ты к черту! — выкрикиваю я, озлясь.

— Грубиян ты, Гальцев,— благодушно замечает Холин. Он умывается, пофыркивая и отчаянно брызгаясь.— Дружеской подначки не понимаешь... И полотенце вот у тебя грязное, а могла бы постирать. Дисциплинки нет!

Вытерев лицо «грязным» полотенцем, он интересуется:

— Меня никто не спрашивал?

— Не знаю, меня не было.

— И тебе не звонили?

— Звонил часов в двенадцать командир полка.

— Чего?

— Просил оказывать тебе содействие.

— Он тебя «просит»?.. Вон как! — Холин ухмыляется.— Здорово у вас дело поставлено! — Он окидывает меня насмешливо-пренебрежительным взглядом.— Эх, голова — два уха! Ну какое ж от тебя может быть содействие?..

Закурив, он выходит из землянки, но скоро возвращается и, потирая руки, довольный, сообщает:

— Эх, и ночка будет — как на заказ!.. Все же господь не без милости. Скажи, ты в бога веруешь?.. А ты куда это собираешься? — спрашивает он строго.— Нет, ты не уходи, ты, может, еще понадобишься...

Присев на нары, он в задумчивости напевает, повторяя одни и те же слова:

Эх, ночка тёмна,
А я боюси,
Ах, проводите
Меня, Маруся...

Я разговариваю по телефону с командиром четвертой роты и, когда кладу трубку, улавливаю шум подъехавшей машины. В дверь тихонько стучат.

— Войдите!

Катасонов, войдя, прикрывает дверь и, приложив руку к пилотке, докладывает:

— Прибыли, товарищ капитан!

— Убери часового! — говорит мне Холин, перестав напевать и живо поднимаясь.

Мы выходим вслед за Катасоновым. Моросит дождь. Близ землянки — знакомая машина с тентом. Выждав, пока часовой скроется в темноте, Холин расстегивает сзади брезент и шепотом зовет:

— Иван...

— Я,— слышится из-под тента тихий детский голос, и через мгновение маленькая фигурка, появившись из-под брезента, спрыгивает на землю.

4

— Здравствуй! — говорит мне мальчик, как только мы заходим в землянку, и, улыбаясь, с неожиданным дружелюбием протягивает руку.

Он выглядит посвежевшим и поздоровевшим, щеки румянятся. Катасонов отряхивает с его полушубочка сенную труху, а Холин заботливо предлагает:

— Может, ляжешь отдохнешь?

— Да ну! Полдня спал и опять отдыхать?

— Тогда достань нам чего-нибудь интересное,— говорит мне Холин,— журнальчик там или еще что... Только с картинками!

Катасонов помогает мальчику раздеться, а я выкладываю на стол несколько номеров «Огонька», «Красноармейца» и «Фронтовых иллюстраций». Оказывается, что некоторые из журналов мальчик уже видел — он откладывает их в сторону.

Сегодня он неузнаваем: разговорчив, то и дело улыбается, смотрит на меня приветливо и обращается ко мне, как и к Холину и Катасонову, на «ты». И у меня к этому белоголовому мальчишке необычайно теплое чувство. Вспом-

нив, что у меня есть коробка леденцов, я, достав, открываю ее и ставлю перед ним, наливаю ему в кружку ряженки с шоколадной пенкой, затем подсаживаюсь рядом, и мы вместе смотрим журналы.

Тем временем Холин и Катасонов приносят из машины уже знакомый мне трофейный чемодан, объемистый узел, увязанный в плащ-палатку, два автомата и небольшой фанерный чемодан. Засунув узел под нары, они усаживаются позади нас и разговаривают. Я слышу, как Холин вполголоса говорит Катасонову обо мне:

— ...Ты бы послушал, как шпрехает — как фриц! Я его весной в переводчики вербовал, а он, видишь, уже батальоном командует...

Это было. В свое время Холин и подполковник Грязнов, послушав, как я по приказанию комдива опрашивал пленных, уговаривали меня перейти в разведотдел переводчиком. Но я не захотел и ничуть не жалею: на разведывательную работу я пошел бы охотно, но только на оперативную, а не переводчиком.

Катасонов поправляет дрова и тихонько вздыхает:

— Ночь-то уж больно хороша!..

Он и Холин полушепотом разговаривают о предстоящем деле, и я узнаю, что подготавливали они вовсе не поиск. Мне становится ясно, что сегодня ночью Холин и Катасонов должны переправить мальчика через Днепр в тыл к немцам.

Для этого ими привезена малая надувная лодка «штурмовка», однако Катасонов уговаривает Холина взять плоскодонку у меня в батальоне.

— Клевые тузики! — шепчет он.

«Вот черти — пронюхали!..» В батальоне пять рыбачьих плоскодонок — мы их возим с собой уже третий месяц. Причем, чтобы их не забрали в другие батальоны, где всего по одной лодке, я приказал маскировать их тщательно, на марше прятать под сено и в отчетности об имеющихся подсобных переправочных средствах указываю всего две лодки, а не пять.

Мальчик грызет леденцы и смотрит журналы. К разговору Холина и Катасонова он не прислушивается. Просмотрев журналы, он откладывает один, где напечатан рассказ о разведчиках, и говорит мне:

— Вот это я прочту... Слушай, а патефона у тебя нет?

— Есть, но сломана пружина.

— Бедненько живешь,— замечает он и вдруг спрашивает: — А ушами ты можешь двигать?

— Ушами?.. Нет, не могу,— улыбаюсь я.— А что?

— А Холин может! — не без торжества сообщает он и оборачивается.— Холин, ну-ка покажи — ушами!

— Всегда пожалуйста! — Холин с готовностью подскакивает и, став перед нами, шевелит ушными раковинами; лицо его при этом остается совершенно неподвижным.

Мальчик, довольный, торжествующе смотрит на меня.

— Можешь не огорчаться,— говорит мне Холин,— ушами двигать я тебя научу. Это успеется. А сейчас идем, покажешь нам лодки.

— А вы меня с собой возьмете? — неожиданно для самого себя спрашиваю я.

— Куда с собой?

— На тот берег.

— Видали,— кивает на меня Холин,— охотничек! А зачем тебе на тот берег?..— И, смерив меня взглядом, словно оценивая, он спрашивает: — Ты плавать-то хоть умеешь?

— Как-нибудь! И гребу и плаваю.

— А плаваешь как — сверху вниз? по вертикали? — с самым серьезным видом интересуется Холин.

— Да уж, думаю, во всяком случае не хуже тебя!

— Конкретнее. Днепр переплывешь?

— Раз пять,— говорю я. И это правда, если учесть, что я имею в виду плавание налегке в летнее время.— Свободно раз пять, туда и обратно!

— Силе-ен мужик! — неожиданно хохочет Холин, и они втроем смеются. Вернее, смеются Холин и мальчик, а Катасонов застенчиво улыбается.

Вдруг, сделавшись серьезным, Холин спрашивает:

— А ружьишком ты не балуешься?

— Иди ты!..— раздражаюсь я, знакомый с подвохом подобного вопроса.

— Вот видите,— указывает на меня Холин,— завелся с полоборота! Никакой выдержки. Нервишки-то явно тряпичные, а просится на тот берег. Нет, парень, с тобой лучше не связываться!

— Тогда я лодку не дам.

— Ну, лодку-то мы и сами возьмем — что у нас, рук нет? А случ-чего позвоню комдиву, так ты ее на своем горбу к реке припрешь!

— Да будет вам,— вступается мальчик примиряюще.— Он и так даст... Ведь дашь? — заглядывая мне в глаза, спрашивает он.

— Да уж придется,— натянуто улыбаясь, говорю я.

— Так идем посмотрим! — берет меня за рукав Холин.— А ты здесь побудь,— говорит он мальчику.— Только не возись, а отдыхай.

Катасонов, поставив на табурет фанерный чемоданчик, открывает его — там различные инструменты, банки с чем-то, тряпки, пакля, бинты. Перед тем как надеть ватник, я пристегиваю к ремню финку с наборной рукоятью.

— Ух, и нож! — восхищенно восклицает мальчик, и глаза у него загораются.— Покажи!

Я протягиваю ему нож; повертев его в руках, он просит:

— Слушай, отдай его мне!

— Я бы тебе отдал, но понимаешь... это подарок.

Я его не обманываю. Этот нож — подарок и память о моем лучшем друге Котьке Холодове. С третьего класса мы сидели с Котькой на одной парте, вместе ушли в армию, вместе были в училище и воевали в одной дивизии, а позже в одном полку.

...На рассвете того сентябрьского дня я находился в окопе на берегу Десны. Я видел, как Котька со своей ротой — первым в нашей дивизии — начал переправляться на правый берег. Связанные из бревен, жердей и бочек плотики миновали уже середину реки, когда немцы обрушились на переправу огнем артиллерии и минометов. И тут же белый фонтан воды взлетел над Котькиным плотиком... Что было там дальше, я не видел — трубка в руке телефониста прохрипела: «Гальцев, вперед!..» И я, а за мной вся рота — сто с лишним человек,— прыгнув через бруствер, бросились к воде, к точно таким же плотикам... Через полчаса мы уже вели рукопашный бой на правом берегу...

Я еще не решил, что сделаю с финкой: оставлю ее себе или же, вернувшись после войны в Москву, приду в тихий переулочек на Арбате и отдам нож Котькиным старикам, как последнюю память о сыне...

— Я тебе другой подарю,— обещаю я мальчику.

— Нет, я хочу этот! — говорит он капризно и заглядывает мне в глаза.— Отдай его мне!

— Не жлобься, Гальцев,— бросает со стороны Холин неодобрительно. Он стоит одетый, ожидая меня и Катасонова.— Не будь крохобором!

— Я тебе другой подарю. Точно такой! — убеждаю я мальчика.

— Будет у тебя такой нож,— обещает ему Катасонов, осмотрев финку.— Я достану.

— Да и сделаю, честное слово! — заверяю я.— А это подарок, понимаешь — память!

— Ладно уж,— соглашается наконец мальчик обидчивым голосом.— А сейчас оставь его — поиграться...

— Оставь нож, и идем,— торопит меня Холин.

— И чего мне с вами идти? Какая радость? — застегивая ватник, вслух рассуждаю я.— Брать вы меня с собой не берете, а где лодки, и без меня знаете.

— Идем, идем,— подталкивает меня Холин.— Я тебя возьму,— обещает он.— Только не сегодня.

Мы выходим втроем и подлеском направляемся к правому флангу. Моросит мелкий, холодный дождь. Темно, небо затянуто сплошь — ни звездочки, ни просвета.

Катасонов скользит впереди с чемоданом, ступая без шума и так уверенно, точно он каждую ночь ходит этой тропой. Я снова спрашиваю Холина о мальчике и узнаю, что маленький Бондарев — из Гомеля, но перед войной жил с родителями на заставе где-то в Прибалтике. Его отец, пограничник, погиб в первый же день войны. Сестренка полутора лет была убита на руках у мальчика во время отступления.

— Ему столько довелось пережить, что нам и не снилось,— шепчет Холин.— Он и в партизанах был, и в Тростянце — в лагере смерти... У него на уме одно: мстить до последнего! Как рассказывает про лагерь или вспомнит отца, сестренку,— трясется весь. Я никогда не думал, что ребенок может так ненавидеть...

Холин на мгновение умолкает, затем продолжает еле слышным шепотом:

— Мы тут два дня бились — уговаривали его поехать в суворовское училище. Командующий сам убеждал его: и по-хорошему и грозился. А в конце концов разрешил сходить, с условием: последний раз! Видишь ли, не посылать его — это тоже боком может выйти. Когда он впервые пришел к нам, мы решили: не посылать! Так он сам ушел. А при возвращении наши же — из охранения в полку у Шилина — обстреляли его. Ранили в плечо, и винить некого: ночь была темная, а никто ничего не знал!.. Видишь ли, то, что он делает, и взрослым редко удается. Он один дает больше, чем ваша разведрота. Они лазят в боевых порядках немцев не далее войскового тыла[1]. А проникнуть и легализироваться в оперативном тылу противника и находиться там, допустим, пять—десять дней разведгруппа не может. И отдельному разведчику это редко удается. Дело в том, что взрослый в любом обличье вызывает подозрение. А подросток, бездомный побирушка — быть может, лучшая маска для разведки в оперативном тылу... Если б ты знал его поближе — о таком мальчишке можно только мечтать!.. Уже решено: если после войны не отыщется мать, Катасоныч или подполковник усыновят его...

— Почему они, а не ты?

— Я бы взял,— шепчет Холин вздыхая,— да подполковник против. Говорит, что меня самого еще надо воспитывать! — усмехаясь, признается он.

Я мысленно соглашаюсь с подполковником: Холин грубоват, а порой развязен и циничен. Правда, при мальчике он сдерживается, мне даже кажется, что он побаивается Ивана.

Метрах в ста пятидесяти до берега мы сворачиваем в кустарник, где, заваленные ельником, хранятся плоскодонки. По моему приказанию их держат наготове и через день поливают водой, чтобы не рассыхались.

Присвечивая фонариками, Холин и Катасонов осматривают лодки, щупают и простукивают днища и борта. Затем переворачивают каждую, усаживаются и, вставив весла в уключины, «гребут». Наконец выбирают одну, небольшую,

[1] На театре военных действий тыл подразделений, частей и соединений носит название войскового тыла (или же тактического), а тыл армий и фронтов — оперативного тыла.

с широкой кормой, на трех-четырех человек, не более.

— Вериги эти ни к чему.— Холин берется за цепь и, как хозяин, начинает выкручивать кольцо.— Остальное сделаем на берегу. Сперва опробуем на воде...

Мы поднимаем лодку — Холин за нос, мы с Катасоновым за корму — и делаем с ней несколько шагов, продираясь меж кустами.

— А ну вас к маме! — вдруг тихо ругается Холин.— Подайте!..

Мы «подаем»; он взваливает лодку плоским днищем себе на спину, вытянутыми над головой руками ухватывается с двух сторон за края бортов и, чуть пригнувшись, широко ступая, идет следом за Катасоновым к реке.

У берега я обгоняю их — предупредить пост охранения, по-видимому, для этого я и был им нужен.

Холин со своей ношей медленно сходит к воде и останавливается. Мы втроем осторожно, чтобы не нашуметь, опускаем лодку на воду.

— Садитесь!

Мы усаживаемся. Холин, оттолкнувшись, вскакивает на корму — лодка скользит от берега. Катасонов, двигая веслами — одним гребя, другим табаня,— разворачивает ее то вправо, то влево. Затем он и Холин, словно задавшись целью перевернуть лодку, наваливаются попеременно то на левый, то на правый борт так, что, того и гляди, зальется вода, потом, став на четвереньки, ощупывая, гладят ладонями борта и днище.

— Клевый тузик! — одобрительно шепчет Катасонов.

— Пойдет,— соглашается Холин.— Он, оказывается, действительно спец лодки воровать — дрянных не берет!.. Покайся, Гальцев, скольких хозяев ты обездолил?..

С правого берега то и дело, отрывистые и гулкие, над водой стучат пулеметные очереди.

— Садят в божий свет, как в копеечку,— шепелявя, усмехается Катасонов.— Расчетливы вроде и прижимисты, а посмотришь — сама бесхозяйственность! Ну что толку палить вслепую?.. Товарищ капитан, может, потом, под утро, ребят вытащим? — нерешительно предлагает он Холину.

— Не сегодня. Только не сегодня...

Катасонов легко подгребает. Подчалив, мы вылезаем на берег.

— Что ж, забинтуем уключины, забьем гнезда солидолом, и все дела! — довольно шепчет Холин и поворачивается ко мне:

— Кто у тебя здесь в окопе?

— Бойцы, двое.

— Оставь одного. Надежного и чтоб молчать умел! Вник? Я заскочу к нему покурить — проверю!.. Командира взвода охранения предупреди: после двадцати двух ноль-ноль разведгруппа, возможно,— так и скажи ему: возможно! — подчеркивает Холин,— пойдет на ту сторону. К этому времени чтобы все посты были предупреждены. А сам он пусть находится в ближнем большом окопе, где пулемет.— Холин указывает рукой вниз по течению.— Если при возвращении нас обстреляют, я ему голову сверну!.. Кто пойдет, как и зачем,— об этом ни слова! Учти: об Иване знаешь только ты! Подписки я от тебя брать не буду, но, если сболтнешь, я тебе...

— Что ты пугаешь? — шепчу я возмущенно.— Что я, маленький, что ли?

— Я тоже так думаю. Да ты не обижайся.— Он похлопывает меня по плечу.— Я же должен тебя предупредить... А теперь действуй!..

Катасонов уже возится с уключинами. Холин, подойдя к лодке, тоже берется за дело. Постояв с минуту, я иду вдоль берега.

Командир взвода охранения встречается мне неподалеку — он обходит окопы, проверяя посты. Я инструктирую его, как сказал Холин, и отправляюсь в штаб батальона. Сделав кое-какие распоряжения и подписав документы, я возвращаюсь к себе в землянку.

Мальчик один. Он весь красный, разгорячен и возбужден. В руке у него Котькин нож, на груди мой бинокль, лицо виноватое. В землянке беспорядок: стол перевернут вверх ногами и накрыт сверху одеялом, ножки табурета торчат из-под нар.

— Слушай, ты не сердись,— просит меня мальчик.— Я нечаянно... честное слово, нечаянно...

Только тут я замечаю на вымытых утром добела досках пола большое чернильное пятно.

— Ты не сердишься? — заглядывая мне в глаза, спрашивает он.

— Да нет же,— отвечаю я, хотя беспорядок в землянке и пятно на полу мне вовсе не по нутру.

Я молча устанавливаю все на места, мальчик помогает мне. Он поглядывает на пятно и предлагает:

— Надо воды нагреть. И с мылом... Я ототру!

— Да ладно, без тебя как-нибудь...

Я проголодался и по телефону приказываю принести ужин на шестерых — я не сомневаюсь, что Холин и Катасонов, повозившись с лодкой, проголодались не менее меня.

Заметив журнал с рассказом о разведчиках, я спрашиваю мальчика:

Ну как, прочел?

— Ага... Переживательно. Только по правде так не бывает. Их сразу застукают. А им еще потом ордена навесили.

— А у тебя за что орден? — интересуюсь я.

— Это еще в партизанах...

— Ты и в партизанах был? — словно услышав впервые, удивляюсь я.— А почему же ушел?

— Блокировали нас в лесу, ну, и меня самолетом на Большую землю. В интернат. Только я оттуда скоро подорвал.

— Как — подорвал?

— Сбежал. Тягостно там, прямо невтерпеж. Живешь — крупу переводишь. И знай зубри: рыбы — позвоночные животные... Или значение травоядных в жизни человека...

— Так это тоже нужно знать.

— Нужно. Только зачем мне это сейчас? К чему?.. Я почти месяц терпел. Вот лежу ночью и думаю: зачем я здесь? Для чего?..

— Интернат — это не то,— соглашаюсь я.— Тебе другое нужно. Тебе бы вот в суворовское училище попасть — было бы здорово!

— Это тебя Холин научил? — быстро спрашивает мальчик и смотрит на меня настороженно.

— При чем тут Холин? Я сам так думаю. Ты уже повоевал: и в партизанах и в разведке. Человек ты заслуженный. Теперь тебе что нужно: отдыхать, учиться! Ты знаешь, из тебя какой офицер получится?..

— Это Холин тебя научил! — говорит мальчик убежденно.— Только зря!.. Офицером стать я еще успею. А пока война, отдыхать может тот, от кого пользы мало.

— Это верно, но ведь ты еще маленький!

— Маленький?.. А ты в лагере смерти был? — вдруг спрашивает он; глаза его вспыхивают лютой, недетской ненавистью, крохотная верхняя губа подергивается.— Что ты меня агитируешь, что?! — выкрикивает он взволнованно.— Ты... ты ничего не знаешь и не лезь!.. Напрасные хлопоты...

Несколько минут спустя приходит Холин. Сунув фанерный чемоданчик под нары, он опускается на табурет и курит жадно, глубоко затягиваясь.

— Все куришь,— недовольно замечает мальчик. Он любуется ножом, вытаскивает его из ножен, вкладывает снова и перевешивает с правого на левый бок.— От курева легкие бывают зеленые.

— Зеленые? — рассеянно улыбаясь, переспрашивает Холин.— Ну и пусть зеленые. Кому это видно?

— А я не хочу, чтобы ты курил! У меня голова заболит.

— Ну ладно, я выйду.

Холин подымается, с улыбкой смотрит на мальчика; заметив раскрасневшееся лицо, подходит, прикладывает ладонь к его лбу и, в свою очередь, с недовольством говорит:

— Опять возился?.. Это никуда не годится! Ложись-ка отдыхай. Ложись, ложись!

Мальчик послушно укладывается на нарах. Холин, достав еще папиросу, прикуривает от своего же окурка и, набросив шинель, выходит из землянки. Когда он прикуривает, я замечаю, что руки у него чуть дрожат. У меня «нервишки тряпичные», но и он волнуется перед операцией. Я уловил в нем какую-то рассеянность или обеспокоенность; при всей своей наблюдательности он не заметил чернильного пятна на полу, да и выглядит как-то странно. А может, мне это только кажется.

Он курит на воздухе минут десять (очевидно, не одну папиросу), возвращается и говорит мне:

— Часа через полтора пойдем. Давай ужинать.

— А где Катасоныч? — спрашивает мальчик.

— Его срочно вызвал комдив. Он уехал в дивизию.

— Как уехал?! — Мальчик живо поднимается.— Уехал и не зашел? Не пожелал мне удачи?

— Он не мог! Его вызвали по тревоге,— объясняет Холин.— Я даже не представляю, что там случилось... Они же знают, что он нам нужен, и вдруг вызывают...

— Мог бы забежать. Тоже друг...— обиженно и взволнованно говорит мальчик. Он по-настоящему расстроен.

С полминуты он лежит молча, отвернув лицо к стенке, затем, обернувшись, спрашивает:

— Так мы что же, вдвоем пойдем?

— Нет, втроем. Он пойдет с нами,— быстрым кивком указывает на меня Холин.

Я смотрю на него в недоумении и, решив, что он шутит, улыбаюсь.

— Ты не улыбься и не смотри как баран на новые ворота. Тебе без дураков говорят,— заявляет Холин. Лицо у него серьезное и, пожалуй, даже озабоченное.

Я все же не верю и молчу.

— Ты же сам хотел. Ведь просился! А теперь что ж, трусишь? — спрашивает он, глядя на меня пристально, с презрением и неприязнью, так что мне становится не по себе.

И я вдруг чувствую, начинаю понимать, что он не шутит.

— Я не трушу! — твердо заявляю я, пытаясь собраться с мыслями.— Просто неожиданно как-то...

— В жизни все неожиданно,— говорит Холин задумчиво.— Я бы тебя не брал, поверь: это необходимость! Катасоныча вызвали срочно, понимаешь — по тревоге! Представить себе не могу, что у них там случилось... Мы вернемся часа через два,— уверяет Холин.— Только ты сам принимай решение. Сам! И случ-чего на меня не вали. Если обнаружится, что ты самовольно ходил на тот берег, нас взгреют по первое число. Так случ-чего не скули: «Холин сказал, Холин просил, Холин меня втравил!..» Чтобы этого не было! Учти: ты сам напросился. Ведь просился?.. Случ-чего мне, конечно, попадет, но и ты в стороне не останешься!.. Кого за себя оставить думаешь? — после короткой паузы деловито спрашивает он.

— Замполита... Колбасова,— подумав, говорю я.— Он парень боевой...

— Парень он боевой. Но лучше с ним не связываться.

Замполиты — народец принципиальный: того и гляди, в политдонесение попадем, тогда неприятностей не оберешься,— поясняет Холин, усмехаясь, и закатывает глаза кверху.— Спаси нас бог от такой напасти!

— Тогда Гущина, командира пятой роты.

— Тебе виднее, решай сам! — замечает Холин и советует: — Ты его в курс дела не вводи: о том, что ты пойдешь на тот берег, будут знать только в охранении. Вник?.. Если учесть, что противник держит оборону и никаких активных действий с его стороны не ожидается, так что же, собственно говоря, может случиться?.. Ничего! К тому же ты оставляешь заместителя и отлучаешься всего на два часа. Куда?.. Допустим, в село... Ты же живой человек, черт побери! Мы вернемся через два... ну, максимум через три часа,— подумаешь, большое дело!..

...Он зря меня убеждает. Дело, конечно, серьезное, и, если командование узнает, неприятностей действительно не оберешься. Но я уже решился и стараюсь не думать о неприятностях — мыслями я весь в предстоящем...

Мне никогда не приходилось ходить в разведку. Правда, месяца три назад я со своей ротой провел — причем весьма успешно — разведку боем. Но что такое разведка боем?.. Это, по существу, тот же наступательный бой, только ведется он ограниченными силами и накоротке.

Мне никогда не приходилось ходить в разведку, и, думая о предстоящем, я, естественно, не могу не волноваться...

5

Приносят ужин. Я выхожу и сам забираю котелки и чайник с горячим чаем. Еще я ставлю на стол крынку с ряженкой и банку тушенки. Мы ужинаем: мальчик и Холин едят мало, и у меня тоже пропал аппетит. Лицо у мальчика обиженное и немного печальное. Его, видно, крепко задело, что Катасонов не зашел пожелать ему успеха. Поев, он снова укладывается на нары.

Когда со стола убрано, Холин раскладывает карту и вводит меня в курс дела.

Мы переправляемся на тот берег втроем и, оставив лодку в кустах, продвигаемся кромкой берега вверх по

течению метров шестьсот до оврага — Холин показывает на карте.

— Лучше, конечно, было бы подплыть прямо к этому месту, но там голый берег и негде спрятать лодку,— объясняет он.

Этим оврагом, находящимся напротив боевых порядков третьего батальона, мальчик должен пройти передний край немецкой обороны.

В случае если его заметят, мы с Холиным, находясь у самой воды, должны немедля обнаружить себя, пуская красные ракеты — сигнал вызова огня,— отвлечь внимание немцев и «любой ценой» прикрыть отход мальчика к лодке. Последним отходит Холин.

В случае если мальчик будет обнаружен, по сигналу наших ракет «поддерживающие средства» — две батареи 76-миллиметровых орудий, батарея 120-миллиметровых минометов, две минометные и пулеметная рота — должны интенсивным артналетом с левого берега ослепить и ошеломить противника, окаймить артиллерийско-минометным огнем немецкие траншеи по обе стороны оврага и далее влево, чтобы воспрепятствовать возможным вылазкам немцев и обеспечить наш отход к лодке.

Холин сообщает сигналы взаимодействия с левым берегом, уточняет детали и спрашивает:

— Тебе все ясно?

— Да, будто все.

Помолчав, я говорю о том, что меня беспокоит: не утеряет ли мальчик ориентировку при переходе, оставшись один в такой темноте, и не может ли он пострадать в случае артобстрела?

Холин разъясняет, что «он» — кивок в сторону мальчика — совместно с Катасоновым из расположения третьего батальона в течение нескольких часов изучал вражеский берег в месте перехода и знает там каждый кустик, каждый бугорок. Что же касается артиллерийского налета, то цели пристреляны заранее и будет оставлен «проход» шириной до семидесяти метров.

Я невольно думаю о том, сколько непредвиденных случайностей может быть, но ничего об этом не говорю. Мальчик лежит задумчиво-печальный, устремив взор вверх. Лицо у него обиженное и, как мне кажется, совсем

безучастное, словно наш разговор его ничуть не касается.

Я рассматриваю на карте синие линии — эшелонированную в глубину оборону немцев — и, представив себе, как она выглядит в действительности, тихонько спрашиваю:

— Слушай, а удачно ли выбрано место перехода? Неужто на фронте армии нет участка, где оборона противника не так плотна? Неужто в ней нет «слабины», разрывов... допустим, на стыках соединений?

Холин, прищурив карие глаза, смотрит на меня насмешливо.

— Вы в подразделениях дальше своего носа ничего не видите! — заявляет он с некоторым пренебрежением.— Вам все кажется, что против вас основные силы противника, а на других участках слабенькое прикрытие, так, для видимости! Неужели же ты думаешь, что мы не выбирали или соображаем меньше твоего?.. Да если хочешь знать, тут у немцев по всему фронту напихано столько войск, что тебе и не снилось! И за стыками они смотрят в оба — дурей себя не ищи: глупенькие да-авно перевелись! Глухая, плотная оборона на десятки километров,— невесело вздыхает Холин.— Чудак-рыбак, тут все не раз продумано. В таком деле с кондачка не действуют, учти!..

Он встает и, подсев к мальчику на нары, вполголоса и, как я понимаю, не в первый раз, инструктирует его:

— ...В овраге держись самого края. Помни: весь низ минирован... Чаще прислушивайся. Замирай и прислушивайся! По траншеям ходят патрули — значит, подползешь и выжидай!.. Как патруль пройдет — через траншею и двигай дальше...

Я звоню командиру пятой роты Гущину и, сообщив ему, что он остается за меня, отдаю необходимые распоряжения. Положив трубку, и снова слышу тихий голос Холина:

— ...будешь ждать в Федоровке... На рожон не лезь! Главное, будь осторожен!

— Ты думаешь, это просто — быть осторожным? — с едва уловимым раздражением спрашивает мальчик.

— Знаю! Но ты будь! И помни всегда: ты не один! Помни: где бы ты ни был, я все время думаю о тебе. И подполковник тоже...

— А Катасоныч уехал и не зашел,— с чисто детской непоследовательностью говорит мальчик обидчиво.

— Я же тебе сказал: он не мог! Его вызвали по тревоге. Иначе бы... Ты ведь знаешь, как он тебя любит! Ты же знаешь, что у него никого нет и ты ему дороже всех! Ведь знаешь?

— Знаю,— шмыгнув носом, соглашается мальчик, голос его дрожит.— Но все же мог забежать...

Холин прилег рядом с ним, гладит рукой его мягкие льняные волосы и что-то шепчет ему. Я стараюсь не прислушиваться. Обнаруживается, что у меня множество дел, и торопливо суечусь, но толком делать что-либо не в состоянии и, плюнув на все, сажусь писать письмо матери: я знаю, что разведчики перед уходом на задание пишут письма родным и близким. Однако я нервничаю, мысли разбегаются, и, написав карандашом с полстранички, я все рву и бросаю в печку.

— Время,— взглянув на часы, говорит мне Холин и поднимается. Поставив на лавку трофейный чемодан, он вытаскивает из-под нар узел, развязывает его, и мы с ним начинаем одеваться.

Поверх бязевого белья он надевает тонкие шерстяные кальсоны и свитер, затем зимнюю гимнастерку и шаровары и облачается в зеленый маскхалат. Поглядывая на него, я одеваюсь так же. Шерстяные кальсоны Катасонова мне малы, они трещат в паху, и я в нерешимости смотрю на Холина.

— Ничего, ничего,— ободряет он.— Смелей! Порвешь — новые выпишем.

Маскхалат мне почти впору, правда, брюки несколько коротки. На ноги мы надеваем немецкие кованые сапоги; они тяжеловаты и непривычны, но это, как поясняет Холин, предосторожность: чтобы «не наследить» на том берегу. Холин сам завязывает шнурки моего маскхалата.

Вскоре мы готовы: финки и гранаты «Ф-1» подвешены к поясным ремням (Холин берет еще увесистую противотанковую — «РПГ-40»); пистолеты с патронами, загнанными в патронники, сунуты за пазуху; прикрытые рукавами маскхалатов, надеты компасы и часы со светящимися циферблатами; ракетницы осмотрены, и Холин проверяет крепление дисков в автоматах.

Мы уже готовы, а мальчик все лежит, заложив ладони под голову и не глядя в нашу сторону.

Из большого немецкого чемодана уже извлечены порыжелый изодранный мальчиковый пиджак на вате и темно-серые, с заплатами штаны, потертая шапка-ушанка и невзрачные на вид подростковые сапоги. На краю нар разложены холщовое исподнее белье, старенькие — все штопанные — фуфайка и шерстяные носки, маленькая засаленная заплечная котомка, портянки и какие-то тряпки.

В кусок рядна Холин заворачивает продукты мальчику: небольшой — с полкилограмма — круг колбасы, два кусочка сала, краюху и несколько черствых ломтей ржаного и пшеничного хлеба. Колбаса домашнего приготовления, и сало не наше, армейское, а неровное, худосочное, серовато-темное от грязной соли, да и хлеб не формовой, а подовый — из хозяйской печки.

Я гляжу и думаю: как все предусмотрено, каждая мелочь...

Продукты уложены в котомку, а мальчик все лежит не шевелясь, и Холин, взглянув на него украдкой, не говоря ни слова, принимается осматривать ракетницу и снова проверяет крепление диска.

Наконец мальчик садится на нарах и неторопливыми движениями начинает снимать свое военное обмундирование. Темно-синие шаровары запачканы на коленках и сзади.

— Смола,— говорит он.— Пусть отчистят.

— А может, их на склад и выписать новые? — предлагает Холин.

— Нет, пусть эти почистят.

Мальчик не спеша облачается в гражданскую одежду. Холин помогает ему, затем осматривает его со всех сторон. И я смотрю: ни дать ни взять, бездомный отрепыш, мальчишка-беженец, каких немало встречалось нам на дорогах наступления.

В карманы мальчик прячет самодельный складной ножик и затертые бумажки: шестьдесят или семьдесят немецких оккупационных марок. И всё.

— Попрыгали,— говорит мне Холин.

Проверяясь, мы несколько раз подпрыгиваем. И мальчик тоже, хотя что у него может зашуметь?

По старинному русскому обычаю, мы садимся и сидим некоторое время молча. На лице у мальчика снова то выражение недетской сосредоточенности и внутреннего напряжения, как и шесть дней назад, когда он впервые появился у меня в землянке.

Облучив глаза красным светом сигнальных фонариков (чтобы лучше видеть в темноте), мы идем к лодке: я впереди, мальчик шагах в пятнадцати сзади меня, еще дальше Холин.

Я должен окликнуть и заговорить каждого, кто нам встретится на тропе, чтобы мальчик в это время спрятался: никто, кроме нас, не должен его теперь видеть — Холин самым решительным образом предупредил меня об этом.

Справа из темноты доносятся негромкие слова команды: «Расчеты — по местам!.. К бою!..» Трещат кусты, и слышится тихая ругань — расчеты изготавливаются у орудий и минометов, разбросанных по подлеску в боевых порядках моего и третьего батальонов.

В операции, кроме нас, участвует около двухсот человек. Они готовы в любое мгновение прикрыть нас, шквалом огня обрушившись на позиции немцев. И никто из них не подозревает, что проводится вовсе не поиск, как был вынужден сказать Холин командирам поддерживающих подразделений.

Невдалеке от лодки находится пост охранения. Он был парный, но, по указанию Холина, я приказал командиру охранения оставить в окопе только одного — немолодого толкового ефрейтора Демина. Когда мы приближаемся к берегу, Холин предлагает мне пойти заговорить ефрейтора — тем временем он с мальчиком незаметно проскользнет к лодке. Все эти предосторожности, на мой взгляд, излишни, но конспиративность Холина меня не удивляет: я знаю, что не только он — все разведчики таковы. Я отправляюсь вперед.

— Только без комментариев! — внушительным шепотом предупреждает меня Холин. Эти предупреждения на каждом шагу мне уже надоели: я же не мальчик и сам соображаю, что к чему.

Демин, как и положено, на расстоянии окликает меня; отозвавшись, я подхожу, спрыгиваю в траншею и станов-

люсь так, чтобы он, обратившись ко мне, повернулся спиной к тропинке.

— Закуривай,— предлагаю я, достав папиросы и взяв одну себе, другую сую ему.

Мы присаживаемся на корточки, он чиркает отсыревшими спичками, наконец одна загорается, он подносит ее мне и прикуривает сам.

В свете спички я замечаю, что в подбрустверной нише на слежавшемся сене кто-то спит, успеваю разглядеть странно знакомую пилотку с малиновым кантом. Жадно затянувшись, я, не сказав ни слова, включаю фонарик и вижу, что в нише — Катасонов.

Он лежит на спине, лицо его прикрыто пилоткой. Я, еще не сообразив, приподнимаю ее — посеревшее, кроткое, как у кролика, лицо; над левым глазом маленькая аккуратная дырочка: входное пулевое отверстие...

— Глупо получилось-то,— тихо бормочет рядом со мной Демин, его голос доходит до меня будто издалека.— Наладили лодку, посидели со мной, покурили. Капитан стоял здесь, со мной говорил, а этот вылезать стал и только, значит, из окопа поднялся и тихо-тихо так вниз сползает. Да мы и выстрелов вроде не слышали... Капитан бросился к нему, трясет: «Капитоныч!.. Капитоныч!..» Глянули — а он наповал!.. Капитан приказал никому не говорить...

Так вот почему Холин показался мне несколько странным по возвращении с берега...

— Без комментариев! — слышится со стороны реки его повелительный шепот.

И я все понимаю: мальчик уходит на задание, и расстраивать его теперь ни в коем случае нельзя — он ничего не должен знать.

Выбравшись из траншеи, я медленно спускаюсь к воде.

Мальчик уже в лодке, я усаживаюсь с ним на корме, взяв автомат наизготовку.

— Садись ровнее,— шепчет Холин, накрывая нас плащ-палаткой.— Следи, чтобы не было крена!

Отведя нос лодки, он садится сам и разбирает весла. Посмотрев на часы, выжидает еще немного и негромко свистит: это сигнал начала операции.

Ему тотчас отвечают: справа из темноты, где в большом

пулеметном окопе на фланге третьего батальона находятся командиры поддерживающих подразделений и артиллерийские наблюдатели, хлопает винтовочный выстрел.

Развернув лодку, Холин начинает грести — берег сразу исчезает. Мгла холодной, ненастной ночи обнимает нас.

6

Я ощущаю на лице мерное горячее дыхание Холина. Он сильными гребками гонит лодку; слышно, как вода тихо всплескивает под ударами весел. Мальчик замер, притаясь под плащ-палаткой рядом со мной.

Впереди, на правом берегу, немцы, как обычно, постреливают и освещают ракетами передний край,— вспышки не так ярки из-за дождя. И ветер в нашу сторону. Погода явно благоприятствует нам.

С нашего берега взлетает над рекой очередь трассирующих пуль. Такие трассы с левого фланга третьего батальона будут давать каждые пять – семь минут: они послужат нам ориентиром при возвращении на свой берег.

— Сахар! — шепчет Холин.

Мы кладем в рот по два кусочка сахара и старательно сосем их: это должно до предела повысить чувствительность наших глаз и нашего слуха.

Мы находимся, верно, уже где-то на середине плеса, когда впереди отрывисто стучит пулемет — пули свистят и, выбивая звонкие брызги, шлепают по воде совсем неподалеку.

— «МГ-34»,— шепотом безошибочно определяет мальчик, доверчиво прижимаясь ко мне.

— Боишься?

— Немножко,— еле слышно признается он.— Никак не привыкну. Нервеность какая-то... И побираться — тоже никак не привыкну. Ух, и тошно!

Я живо представляю, каково ему, гордому и самолюбивому, унижаться, попрошайничая.

— Послушай,— вспомнив, шепчу я,— у нас в батальоне есть Бондарев. И тоже гомельский. Не родственник, случаем?

— Нет. У меня нет родственников. Одна мать. И та

не знаю, где сейчас...— Голос его дрогнул.— И фамилия моя по правде Буслов, а не Бондарев.

— И зовут не Иван?

— Нет, звать Иваном. Это правильно.

— Тсс!..

Холин начинает грести тише — видимо, в ожидании берега. Я до боли в глазах всматриваюсь в темноту: кроме тусклых за пеленой дождя вспышек ракет, ничего не разглядишь.

Мы движемся еле-еле; еще миг, и днище цепляется за песок. Холин, проворно сложив весла, ступает через борт и, стоя в воде, быстро разворачивает лодку кормой к берегу.

Минуты две мы напряженно вслушиваемся. Слышно, как капли дождя мягко шлепают по воде, по земле, по уже намокшей плащ-палатке; я слышу ровное дыхание Холина и слышу, как бьется мое сердце. Но подозрительного — ни шума, ни говора, ни шороха — мы уловить не можем. И Холин дышит мне в самое ухо:

— Иван — на месте. А ты вылазь и держи...

Он ныряет в темноту. Я осторожно выбираюсь из-под плащ-палатки, ступаю в воду на прибрежный песок, поправляю автомат и беру лодку за корму. Я чувствую, что мальчик поднялся и стоит в лодке рядом со мной.

— Сядь. И накинь плащ-палатку,— ощупав его рукой, шепчу я.

— Теперь уж все равно,— отвечает он чуть слышно.

Холин появляется неожиданно и, подойдя вплотную, радостным шепотом сообщает:

— Порядок! Все подшито, прошнуровано...

Оказывается, те кусты у воды, в которых мы должны оставить лодку, всего шагах в тридцати ниже по течению.

Несколько минут спустя лодка спрятана, и мы, пригнувшись, крадемся вдоль берега, время от времени замирая и прислушиваясь. Когда ракета вспыхивает неподалеку, мы падаем на песок под уступом и лежим неподвижно, как мертвые. Уголком глаза я вижу мальчика — одежа его потемнела от дождя. Мы с Холиным вернемся и переоденемся, а он...

Холин вдруг замедляет шаг и, взяв мальчика за руку, ступает правее по воде. Впереди на песке что-то светлеет. «Трупы наших разведчиков»,— догадываюсь я.

— Что это? — чуть слышно спрашивает мальчик.

— Фрицы,— быстро шепчет Холин и увлекает его вперед.— Это снайпер с нашего берега.

— Ух, гады! Даже своих раздевают! — с ненавистью бормочет мальчик, оглядываясь.

Мне кажется, что мы двигаемся целую вечность и уже давно должны дойти. Однако я припоминаю, что от кустов, где спрятана лодка, до этих трупов триста с чем-то метров. А до оврага нужно пройти еще примерно столько же.

Вскоре мы минуем еще один труп. Он совсем разложился — тошнотворный запах чувствуется на расстоянии. С левого берега, врезаясь в дождливое небо у нас за спиной, снова уходит трасса. Овраг где-то близко; но мы его не увидим: он не освещается ракетами, верно, потому, что весь низ его минирован, а края окаймлены сплошными траншеями и патрулируются. Немцы, по-видимому, уверены, что здесь никто не сунется.

Этот овраг — хорошая ловушка для того, кого в нем обнаружат. И весь расчет на то, что мальчик проскользнет незамеченным.

Холин наконец останавливается и, сделав нам знак присесть, сам уходит вперед. Скоро он возвращается и еле слышно командует:

— За мной!

Мы перемещаемся вперед еще шагов на тридцать и присаживаемся на корточки за уступом.

— Овраг перед нами, прямо! — Отогнув рукав маскхалата, Холин смотрит на светящийся циферблат и шепчет мальчику: — В нашем распоряжении еще четыре минуты. Как самочувствие?

— Порядок.

Некоторое время мы прослушиваем темноту. Пахнет трупом и сыростью. Один из трупов — он заметен на песке метрах в трех вправо от нас,— очевидно, и служит Холину ориентиром.

— Ну, я пойду,— чуть слышно говорит мальчик.

— Я провожу тебя,— вдруг шепчет Холин.— По оврагу. Хотя бы немного.

Это уже не по плану!

— Нет! — возражает мальчик.— Пойду один! Ты большой — с тобой застукают.

— Может, мне пойти? — предлагаю я нерешительно.

— Хоть по оврагу,— упрашивает Холин шепотом.— Там глина — наследишь. Я пронесу тебя!

— Я сказал! — упрямо и зло заявляет мальчик.— Я сам!

Он стоит рядом со мной, маленький, худенький, и, как мне кажется, весь дрожит в своей старенькой одежке. А может, мне только кажется...

— До встречи,— помедлив, шепчет он Холину.

— До встречи! (Я чувствую, что они обнимаются и Холин целует его.) Главное, будь осторожен! Береги себя! Если мы двинемся — ожидай в Федоровке!

— До встречи,— обращается мальчик уже ко мне.

— До свидания! — с волнением шепчу я, отыскивая в темноте его маленькую узкую ладошку и крепко сжимая ее.

Я ощущаю желание поцеловать его, но сразу не решаюсь. Я страшно волнуюсь в эту минуту. Перед этим я раз десять повторяю про себя: «До свидания», чтобы не ляпнуть, как шесть дней назад: «Прощай!»

И, прежде чем я решаюсь поцеловать его, он неслышно исчезает во тьме.

7

Мы с Холиным притаились, присев на корточки вплотную к уступу, так что край его приходился над нашими головами, и настороженно прислушивались. Дождь сыпал мерно и неторопливо, холодный, осенний дождь, которому, казалось, и конца не будет. От воды тянуло мозглой сыростью.

Прошло минуты четыре, как мы остались одни, и с той стороны, куда ушел мальчик, послышались шаги и тихий невнятный гортанный говор.

«Немцы!..»

Холин сжал мне плечо, но меня не нужно было предупреждать — я, может, раньше его расслышал и, сдвинув на автомате шишечку предохранителя, весь оцепенел с гранатой, зажатой в руке.

Шаги приближались. Теперь можно было различить, как грязь хлюпала под ногами нескольких человек. Во рту у меня пересохло, сердце колотилось как бешеное.

— Verfluchtes Wetter! Hohl es der Teufel...[1]

— Halte's Maul, Otto!.. Links halten!..[2]

Они прошли совсем рядом, так что брызги холодной грязи попали мне на лицо. Спустя мгновения при вспышке ракеты мы в реденькой пелене дождя разглядели их, рослых (может, мне так показалось потому, что я смотрел на них снизу), в касках с подшлемниками и в точно таких же, как на нас с Холиным, сапогах с широкими голенищами. Трое были в плащ-палатках, четвертый — в блестевшем от дождя длинном плаще, стянутом в поясе ремнем с кобурой. Автоматы висели у них на груди.

Их было четверо — дозор охранения полка СС, боевой дозор германской армии, мимо которого только что проскользнул Иван Буслов, двенадцатилетний мальчишка из Гомеля, значившийся в наших разведдокументах под фамилией «Бондарев».

Когда при дрожащем свете ракеты мы их увидели, они, остановившись, собирались спуститься к воде шагах в десяти от нас. Было слышно, как в темноте они попрыгали на песок и направились в сторону кустов, где была спрятана наша лодка.

Мне было труднее, чем Холину. Я не был разведчиком, воевал же с первых месяцев войны, и при виде врагов, живых и с оружием, мною вмиг овладело привычное, много раз испытанное возбуждение бойца в момент схватки. Я ощутил желание — вернее, жажду, потребность, необходимость — немедля убить их! Я завалю их как миленьких, одной очередью! «Убить их!» — я, верно, ни о чем больше не думал, вскинув и доворачивая автомат. Но за меня думал Холин. Почувствовав мое движение, он словно тисками сжал мне предплечье,— опомнившись, я опустил автомат.

— Они заметят лодку! — растирая предплечье, прошептал я, как только шаги удалились.

Холин молчал.

— Надо что-то делать,— после короткой паузы снова зашептал я встревоженно.— Если они обнаружат лодку...

---

[1] Проклятая погода! И какого черта... *(нем.)*

[2] Придержи язык, Отто!.. Принять левее!.. *(нем.)*

— Если!..— В бешенстве выдохнул мне в лицо Холин. Я почувствовал, что он способен меня задушить.— А если застукают мальчишку?! Ты что же, думаешь оставить его одного?.. Ты что: шкура, сволочь или просто дурак?..

— Дурак,— подумав, прошептал я.

— Наверно, ты неврастеник,— произнес Холин раздумчиво.— Кончится война — придется лечиться...

Я напряженно прислушивался, каждое мгновение ожидая услышать возгласы немцев, обнаруживших нашу лодку. Левее отрывисто простучал пулемет, за ним — другой, прямо над нами, и снова в тишине слышался мерный шум дождя. Ракеты взлетали то там, то там по всей линии берега, вспыхивая, искрились, шипели и гасли, не успев долететь до земли.

Тошнотный трупный запах отчего-то усилился. Я отплевывался и старался дышать через рот, но это мало помогало.

Мне мучительно хотелось закурить. Еще никогда в жизни мне так не хотелось курить. Но единственно, что я мог,— вытащить папиросу и нюхать ее, разминая пальцами.

Мы вскоре вымокли и дрожали от холода, а дождь все не унимался.

— В овраге глина, будь она проклята! — вдруг зашептал Холин.— Сейчас бы хороший ливень, чтоб смыл все...

Мыслями он все время был с мальчиком, и глинистый овраг, где следы хорошо сохранятся, беспокоил его. Я понимал, сколь основательно его беспокойство: если немцы обнаружат свежие, необычно маленькие следы, идущие от берега через передовую, за Иваном наверняка будет снаряжена погоня. Быть может, с собаками. Где-где, а в полках СС достаточно собак, выученных для охоты на людей.

Я уже жевал папиросу. Приятного в этом было мало, но я жевал. Холин, верно услышав, поинтересовался:

— Ты что это?

— Курить хочу — умираю! — вздохнул я.

— А к мамке не хочется? — спросил Холин язвительно.— Мне вот лично к мамке хочется! Неплохо бы, а?

Мы выжидали еще минут двадцать, мокрые, дрожа от холода и вслушиваясь. Рубашка ледяным компрессом облегала спину. Дождь постепенно сменился снегом —

мягкие, мокрые хлопья падали, белой пеленой покрывая песок, и неохотно таяли.

— Ну, кажется, прошел,— наконец облегченно вздохнул Холин и приподнялся.

Пригибаясь и держась близ самого уступа, мы двинулись к лодке, то и дело останавливаясь, замирали и прислушивались. Я был почти уверен, что немцы обнаружили лодку и устроили в кустах засаду. Но сказать об этом Холину не решался: я боялся, что он осмеет меня.

Мы крались во тьме вдоль берега, пока не наткнулись на трупы наших разведчиков. Мы сделали от них не более пяти шагов, как Холин остановился и, притянув меня к себе за рукав, зашептал мне в ухо:

— Останешься здесь. А я пойду за лодкой. Чтоб случ-чего не всыпаться обоим. Подплыву — окликнешь меня по-немецки. Тихо-тихо!.. Если же я нарвусь, будет шум — плыви на тот берег. И если через час не вернусь — тоже плыви. Ты ведь можешь пять раз сплавать туда и обратно? — сказал он насмешливо.

— Могу,— подтвердил я дрожащим голосом.— А если тебя ранят?

— Не твоя забота. Поменьше рассуждай.

— К лодке подойти лучше не берегом, а подплыть со стороны реки,— заметил я не совсем уверенно.— Я смогу, давай...

— Я, может, так и сделаю... А ты случ-чего не вздумай рыпаться! Если с тобой что случится, нас взгреют по первое число. Вник?

— Да. А если...

— Без всяких «если»!.. Хороший ты парень, Гальцев,— вдруг прошептал Холин,— но неврастеник. А это в нашем деле самая страшная вещь...

Он ушел в темноту, а я остался ждать. Не знаю, сколько длилось это мучительное ожидание: я так замерз и так волновался, что даже не сообразил взглянуть на часы. Стараясь не произвести и малейшего шума, я усиленно двигал руками и приседал, чтоб хоть немного согреться. Время от времени я замирал и прислушивался.

Наконец, уловив еле различимый плеск воды, я приложил ладони рупором ко рту и зашептал:

— Хальт... Хальт...

– Тихо, черт! Иди сюда...

Осторожно ступая, я сделал несколько шагов, и холодная вода залилась в сапоги, ледяными объятиями охватив мои ноги.

— Как там у оврага, тихо? — прежде всего поинтересовался Холин.

— Тихо.

— Вот видишь, а ты боялась! — прошептал он, довольный.— Садись с кормы,— взяв у меня автомат, скомандовал он и, как только я влез в лодку, принялся грести, забирая против течения.

Усевшись на корме, я стянул сапоги и вылил из них воду.

Снег валил мохнатыми хлопьями и таял, чуть коснувшись реки. С левого берега снова дали трассу. Она прошла прямо над нами; надо было поворачивать, а Холин продолжал гнать лодку вверх по течению.

— Ты куда? — спросил я, не понимая.

Не отвечая, он энергично работал веслами.

— Куда мы плывем?

— На вот, погрейся! — оставив весла, он сунул мне в руки маленькую плоскую фляжечку.

Закоченевшими пальцами, с трудом свинтив колпачок, я глотнул — водка приятным жаром обожгла мне горло, внутри сделалось тепло, но дрожь, по-прежнему била меня.

— Пей до дна! — прошептал Холин, чуть двигая веслами.

— А ты?

— Я выпью на берегу. Угостишь?

Я глотнул еще и, с сожалением убедившись, что во фляжечке ничего нет, сунул ее в карман.

— А вдруг он еще не прошел? — неожиданно сказал Холин.— Вдруг лежит, выжидает... Как бы я хотел быть сейчас с ним!..

И мне стало ясно, почему мы не возвращаемся. Мы находились против оврага, чтобы «случ-чего» снова высадиться на вражеском берегу и прийти на помощь мальчишке. А оттуда, из темноты, то и дело сыпали по реке длинными очередями. У меня мурашки бегали по телу, когда пули свистели и шлепали по воде рядом с лодкой. В такой мгле, за широкой завесой мокрого снега обнаружить нас было, наверно, невозможно, но это чертовски неприятно — находиться под обстрелом на воде, на открытом месте, где не зароешься в землю и нет ничего, за чем можно было бы укрыться. Холин же, подбадривая, шептал:

— От таких глупых пуль может сгинуть только дурак или трус! Учти!..

Катасонов был не дурак и не трус. Я в этом не сомневался, но Холину ничего не сказал.

— А фельдшерица у тебя ничего! — немного погодя вспомнил он, очевидно желая как-то меня отвлечь.

— Ни-че-го,— выбивая дробь зубами, согласился я, менее всего думая о фельдшерице; мне представилась теплая землянка медпункта и печка. Чудесная чугунная печка!..

С левого, бесконечно желанного берега еще три раза давали трассу. Она звала нас вернуться, а мы все болтались на воде ближе к правому берегу.

— Ну, вроде прошел,— наконец сказал Холин и, задев меня вальком, сильным движением весел повернул лодку.

Он удивительно ориентировался и выдерживал направление в темноте. Мы подплыли неподалеку от большого пулеметного окопа на правом фланге моего батальона, где находился командир взвода охранения.

Нас ожидали и сразу окликнули тихо, но властно: «Стой! Кто идет?..» Я назвал пароль — меня узнали по голосу, и через мгновение мы ступили на берег.

Я был совершенно измучен и, хотя выпил грамм двести водки, по-прежнему дрожал и еле передвигал закоченевшими ногами. Стараясь не стучать зубами, я приказал вытащить и замаскировать лодку, и мы двинулись по берегу, сопровождаемые командиром отделения Зуевым, моим любимцем, несколько развязным, но бесшабашной смелости сержантом. Он шел впереди.

— Товарищ старший лейтенант, а «язык» где же? — оборачиваясь, вдруг весело спросил он.

— Какой «язык»?

— Так, говорят, вы за «языком» отправились.

Шедший сзади Холин, оттолкнув меня, шагнул к Зуеву.

— Язык у тебя во рту! Вник?! — сказал он резко, отчет-

ливо выговаривая каждое слово; мне показалось, что он опустил свою увесистую руку на плечо Зуеву, а может, даже взял его за ворот: этот Холин был слишком прям и вспыльчив — он мог так сделать.

— Язык у тебя во рту! — угрожающе повторил он.— И держи его за зубами! Тебе же лучше будет!.. А теперь возвращайтесь на пост!..

Как только Зуев остался [redacted] нескольких шагах позади, Холин объявил строго и нарочито громко:

— Трепачи у тебя в батальоне, Гальцев! А это в нашем деле самая страшная вещь...

В темноте он взял меня под руку и, сжав ее у локтя, насмешливо прошептал:

— А ты тоже штучка! Бросил батальон, а сам на тот берег за «языком»! Охотничек!

* * *

В землянке, живо растопив печку дополнительными минометными зарядами, мы разделись догола и растерлись полотенцем.

Переодевшись в сухое белье, Холин накинул поверх шинель, уселся к столу и, разложив перед собой карту, сосредоточенно рассматривал ее. Очутившись в землянке, он сразу как-то сник, вид у него был усталый и озабоченный.

Я подал на стол банку тушенки, сало, котелок с солеными огурцами, хлеб, ряженку и флягу с водкой.

— Эх, если бы знать, что сейчас с ним! — воскликнул вдруг Холин, поднимаясь.— И в чем там дело?

— Что такое?

— Этот патруль — на том берегу — должен был пройти на полчаса позже. Понимаешь?.. Значит, или немцы сменили режим охранения, или мы что-то напутали. А мальчишка в любом случае может поплатиться жизнью. У нас же все было рассчитано по минутам.

— Но ведь он прошел. Мы сколько выжидали — не меньше часа,— и все было тихо.

— Что — прошел? — спросил Холин с раздражением.— Если хочешь знать, ему нужно пройти более пятидесяти километров. Из них около двадцати он должен сделать до рассвета. И на каждом шагу можно напороться. А сколько всяких случайностей!.. Ну ладно, разговорами не поможешь!..— Он убрал карту со стола.— Давай!

Я налил водки в две кружки.

— Чокаться не будем,— взяв одну, предупредил Холин.

Подняв кружки, мы сидели несколько мгновений в безмолвии.

— Эх, Катасоныч, Катасоныч...— вздохнул Холин, насупившись, и срывающимся голосом проговорил: — Тебе-то что! А мне он жизнь спас...

Он выпил залпом и, нюхая кусок черного хлеба, потребовал:

— Еще!

Выпив сам, я налил по второму разу: себе немного, а ему до краев.

Взяв кружку, он повернулся к нарам, где стоял чемодан с вещами мальчика, и негромко произнес:

— За то, чтоб ты вернулся [redacted] больше не уходил. За твое будущее!

Мы чокнулись и, выпив, принялись закусывать. Несомненно, [redacted] эту минуту мы оба думали о мальчике. Печка, став по бокам и сверху оранжево-красной, дышала жаром. Мы вернулись и сидим в тепле и [redacted] безопасности. А он где-то во вражеском расположении крадется сквозь снег и мглу бок о бок со смертью...

Я никогда не испытывал особой любви к детям, но этот мальчишка — хотя [redacted] встречался с ним всего лишь два раза — был мне так близок [redacted] дорог, что я не мог без щемящего сердце волнения думать о нем.

Пить я больше не стал. Холин же без всяких тостов молча хватил третью кружку. Вскоре он опьянел и сидел сумрачный, угрюмо посматривая на меня покрасневшими, возбужденными глазами.

— Третий год воюешь?..— спросил он, закуривая.— И я третий... А [redacted] глаза смерти — как Иван! — мы, может, [redacted] не заглядывали... За тобой батальон, полк, целая армия... А он один! — внезапно раздражаясь, выкрикнул Холин.— Ребенок!.. И ты ему еще ножа вонючего пожалел!..

8

«Пожалел!..» Нет, я не мог, не имел права отдать кому бы то ни было этот нож, единственную память о погибшем друге, единственно уцелевшую его личную вещь.

Но слово я сдержал. В дивизионной артмастерской был слесарь-умелец, пожилой сержант с Урала. Весной он выточил рукоятку Котькиного ножа, теперь я попросил его изготовить точно такую же и поставить на новенькую десантную финку, которую я ему передал. Я не только просил, я привез ему ящичек трофейных слесарных инструментов — тисочки, сверла, зубила,— мне они были не нужны, он же им обрадовался, как ребенок.

Рукоятку он сделал на совесть — финки можно было различить, пожалуй, лишь по зазубринкам на Котькиной и выгравированным на шишечке ее рукоятки инициалам «К. Х.». Я уже представлял себе, как обрадуется мальчишка, заимев настоящий десантный нож с такой красивой рукояткой; я понимал его: я ведь и сам не так давно был подростком.

Эту новую финку я носил на ремне, рассчитывая при первой же встрече с Холиным или с подполковником Грязновым передать им: глупо было бы полагать, что мне самому доведется встретиться с Иваном. Где-то он теперь? — я и представить себе не мог, не раз вспоминая его.

А дни были горячие: дивизии нашей армии форсировали Днепр и, как сообщалось в сводках Информбюро, «вели успешные бои по расширению плацдарма на правом берегу...».

Финкой я почти не пользовался; правда, однажды в рукопашной схватке я пустил ее в ход, и, если бы не она, толстый, грузный ефрейтор из Гамбурга, наверное, раскроил бы мне лопаткой голову.

Немцы сопротивлялись отчаянно. После восьми дней тяжелых наступательных боев мы получили приказ занять оборону, и тут-то в начале ноября, в ясный холодный день, перед самым праздником, я встретился с подполковником Грязновым.

Среднего роста, с крупной, посаженной на плотное туловище головой, в шинели и в шапке-ушанке, он расхаживал вдоль обочины большака, чуть волоча правую ногу —

она была перебита еще в финскую кампанию. Я узнал его издалека сразу, как вышел на опушку рощи, где располагались остатки моего батальона. «Моего» — я мог теперь говорить так со всем основанием: перед форсированием меня утвердили в должности командира батальона.

В роще, где мы расположились, было тихо, поседевшие от инея листья покрывали землю, пахло пометом и конской мочой. На этом участке входил в прорыв гвардейский казачий корпус, и в роще казаки делали привал. Запахи лошади и коровы с детских лет ассоциируются у меня с запахом парного молока и горячего, только вынутого из печки хлеба. Вот и сейчас мне вспомнилась родная деревня, где в детстве каждое лето я живал у бабки, маленькой, сухонькой, без меры любившей меня старушки. Все это было вроде недавно, но представлялось мне теперь далеким-далеким и неповторимым, как и все довоенное...

Воспоминания детства кончились, как только я вышел на опушку.

Большак был забит немецкими машинами, сожженными, подбитыми и просто брошенными; убитые немцы в различных позах валялись на дороге, в кюветах; серые бугорки трупов виднелись повсюду на изрытом траншеями поле.

На дороге, метрах в пятидесяти от подполковника Грязнова, его шофер и лейтенант-переводчик возились в кузове немецкого штабного бронетранспортера. Еще четверо — я не мог разобрать их званий — лазали в траншеях по ту сторону большака. Подполковник что-то им кричал — из-за ветра я не расслышал что.

При моем приближении Грязнов обернул ко мне изрытое оспинами, смуглое мясистое лицо и грубоватым голосом воскликнул, не то удивляясь, не то обрадованно:

— Ты жив, Гальцев?!

— Жив! А куда я денусь? — улыбнулся я.— Здравия желаю!

— Здравствуй! Если жив,— здравствуй!

Я пожал протянутую мне руку, оглянулся и, убедившись, что, кроме Грязнова, меня никто не услышит, обратился:

— Товарищ подполковник, разрешите узнать: что Иван, вернулся?

— Иван?.. Какой Иван?

— Ну мальчик, Бондарев.

— А тебе-то что, вернулся он или нет? — недовольно спросил Грязнов и, нахмурясь, посмотрел на меня черными хитроватыми глазами.

— Я все-таки переправлял его, понимаете...

— Мало ли кто кого переправлял! Каждый должен знать то, что ему положено. Это закон для армии, а для разведки в особенности!

— Но я для дела ведь спрашиваю. Не по службе, личное... У меня к вам просьба. Я обещал ему подарить...— Расстегнув шинель, я снял с ремня нож и протянул подполковнику.— Прошу, передайте. Как он хотел иметь его, вы бы только знали!

— Знаю, Гальцев, знаю,— вздохнул подполковник и, взяв финку, осмотрел ее.— Ничего. Но бывают лучше. У него этих ножей с десяток, не меньше. Целый сундучок собрал... Что поделаешь — страсть! Возраст такой. Известное дело — мальчишка!.. Что ж... если увижу, передам...

— Так он что... не вернулся? — в волнении проговорил я.

— Был. И ушел... Сам ушел...

— Как же так?

Подполковник насупился и помолчал, устремив свой взгляд куда-то вдаль. Затем низким, глуховатым басом тихо сказал:

— Его отправляли в училище, и он было согласился. Утром должны были оформить документы, а ночью он ушел... И винить его не могу: я его понимаю. Это долго объяснять, да и не к чему тебе...

Он обратил ко мне крупное рябое лицо, суровое и задумчивое:

— Ненависть в нем не перекипела. И нет ему покоя... Может, еще вернется, а скорей всего к партизанам уйдет... А ты о нем забудь и на будущее учти: о закордонниках спрашивать не следует. Чем меньше о них говорят и чем меньше людей о них знает, тем дольше они живут... Встретился ты с ним случайно, и знать тебе о нем — ты не обижайся — не положено! Так что впредь запомни: ничего не было, ты не знаешь никакого Бондарева, ничего

не видел и не слышал. И никого ты не переправлял! А потому и спрашивать нечего. Вник?..

...И я больше не спрашивал. Да и спрашивать было некого. Холин вскоре погиб во время поиска: в предрассветной полутьме его разведгруппа напоролась на засаду немцев — пулеметной очередью Холину перебило ноги; приказав всем отходить, он залег и отстреливался до последнего, а когда его схватили, подорвал противотанковую гранату... Подполковник же Грязнов был переведен в другую армию, и больше я его не встречал.

Но забыть об Иване — как посоветовал мне подполковник — я, понятно, не мог. И, не раз вспоминая маленького разведчика, я никак не думал, что когда-нибудь встречу его или же узнаю что-либо о его судьбе.

[illegible]

В боях под Ковелем я был тяжело ранен и стал «ограниченно годным»: меня разрешалось использовать лишь на нестроевых должностях в штабах соединений или же в службе тыла. Мне пришлось расстаться с батальоном и с родной дивизией. Последние полгода войны я работал переводчиком разведотдела корпуса на том же 1-м Белорусском фронте, но в другой армии.

Когда начались бои за Берлин, меня и еще двух офицеров командировали в одну из оперативных групп, созданных для захвата немецких архивов и документов.

Берлин капитулировал 2 мая, в три часа дня. В эти исторические минуты наша опергруппа находилась в самом центре города, в полуразрушенном здании на Принц-Альбрехтштрассе, где совсем недавно располагалась «Гехайме-стаатс-полицай» — государственная тайная полиция.

Как и следовало ожидать, большинство документов немцы успели вывезти либо же уничтожили. Лишь в помещениях четвертого — верхнего — этажа были обнаружены невесть как уцелевшие шкафы с делами и огромная картотека. Об этом радостными криками из окон возвестили автоматчики, первыми ворвавшиеся в здание.

— Товарищ капитан, там во дворе в машине бума

ги! — подбежав ко мне, доложил солдат, широкоплечий приземистый коротыш.

На огромном, усеянном камнями и обломками кирпичей дворе гестапо раньше помещался гараж на десятки, в может, на сотни автомашин; из них осталось несколько — поврежденных взрывами и неисправных. Я огляделся: бункер, трупы, воронки от бомб, в углу двора — саперы с миноискателем.

Невдалеке от ворот стоял высокий грузовик с газогенераторными колонками. Задний борт был откинут — в кузове из-под брезента виднелись труп офицера в черном эсэсовском мундире и увязанные в пачки толстые дела и папки.

Солдат неловко забрался в кузов и подтащил связки к самому краю. Я финкой взрезал эрзац-веревку.

Это были документы ГФП — тайной полевой полиции,— группы армий «Центр»; относились они к зиме 1943-44 года. Докладные о карательных «акциях» и агентурных разработках, розыскные требования и ориентировки, копии различных донесений и спецсообщений, они повествовали о героизме и малодушии, о расстрелянных и о народных мстителях, о пойманных и неуловимых. Для меня эти документы представляли особый интерес: Мозырь и Петриков, Речица и Пинск — столь знакомые места Гомельщины и Полесья, где проходил наш фронт,— вставали передо мной.

В делах было немало учетных карточек — анкетных бланков с краткими установочными данными тех, кого искала, ловила и преследовала тайная полиция. К некоторым карточкам были приклеены фотографии.

— Кто это? — Стоя в кузове, солдат, наклонясь, тыкал толстым коротким пальцем и спрашивал меня: — Товарищ капитан, кто это?

Не отвечая, я в каком-то оцепенении листал бумаги, просматривал папку за папкой, не замечая мочившего нас дождя. Да, в этот величественный день нашей победы в Берлине моросил дождь, мелкий, холодный, и было пасмурно. Лишь под вечер небо очистилось от туч и сквозь дым проглянуло солнце.

После десятидневного грохота ожесточенных боев воцарилась тишина, кое-где нарушаемая автоматными очере-

дями. В центре города полыхали пожары, и если на окраинах, где много садов, буйный запах сирени забивал все остальные, то здесь пахло гарью; черный дым стелился над руинами.

— Несите все в здание! — наконец приказал я солдату, указывая на связки, и машинально открыл папку, которую держал в руке. Взглянул — и сердце мое сжалось: с фотографии, приклеенной к бланку, на меня смотрел Иван Буслов...

Я узнал его сразу по скуластому лицу и большим, широко расставленным глазам — я ни у кого не видел глаз, расставленных так широко.

Он смотрел исподлобья, сбычась, как тогда, при нашей первой встрече в землянке на берегу Днепра. На левой щеке ниже скулы темнел кровоподтек.

Бланк с фотографией был не заполнен. С замирающим сердцем я перевернул его — снизу был подколот листок с машинописным текстом: копией спецсообщения начальника тайной полевой полиции 2-й немецкой армии.

> «№... гор. Лунинец. 26.12.43 г. Секретно. Начальнику полевой полиции группы «Центр»...

...21 декабря сего года в расположении 23-го армейского корпуса, в запретной зоне близ железной дороги, чином вспомогательной полиции Ефимом Титковым был замечен и после двухчасового наблюдения задержан русский, школьник 10—12 лет, лежавший в снегу и наблюдавший за движением эшелонов на участке Калинковичи—Клинск.

При задержании неизвестный (как установлено, местной жительнице Семиной Марии он назвал себя «Иваном») оказал яростное сопротивление, прокусил Титкову руку и только при помощи подоспевшего ефрейтора Винц был доставлен в полевую полицию...

...установлено, что «Иван» в течение нескольких суток находился в районе расположения 23-го корпуса... занимался нищенством... ночевал в заброшенной риге и сараях. Руки и пальцы ног у него оказались обмороженными и частично пораженными гангреной...

При обыске «Ивана» были найдены... в карманах носовой платок и 110 (сто десять) оккупационных марок.

Никаких вещественных доказательств, уличавших бы его в принадлежности к партизанам или в шпионаже, не обнаружено... Особые приметы: посреди спины, на линии позвоночника, большое родимое пятно, над правой лопаткой — шрам касательного пулевого ранения...

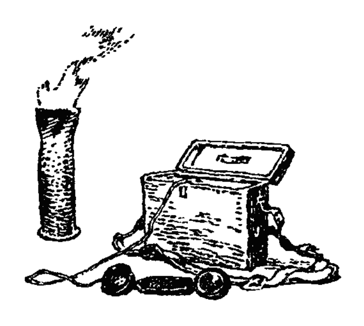
Допрашиваемый тщательно и со всей строгостью в течение четырех суток майором фон Биссинг, обер-лейтенантом Кляммт и фельдфебелем Штамер, «Иван» никаких показаний, способствовавших бы установлению его личности, а также выяснению мотивов его пребывания в запретной зоне и в расположении 23-го армейского корпуса, не дал.

На допросах держался вызывающе: не скрывал своего враждебного отношения к немецкой армии и Германской империи.

В соответствии с директивой Верховного командования вооруженными силами от 11 ноября 1942 года расстрелян 25.12.43 г. в 6.55.

...Титкову... выдано вознаграждение... 100 (сто) марок. Расписка прилагается...».

Октябрь — декабрь 1957 г.



ЗОСЯ

1

Был я тогда совсем еще мальчишка, мечтательный и во многом несмышленый...

После месяца тяжелых наступательных боев — в лесах, по пескам и болотам,— после месяца нечеловеческого напряжения и сотен смертей, уже в Польше, под Белостоком, когда в обескровленных до предела батальонах остались считанные бойцы, нас под покровом ночи неожиданно сняли с передовой и отвели — для отдыха и пополнения в тылах фронта.

Так остатки нашего мотострелкового батальона оказались в небольшой и ничем, наверно, не примечательной польской деревушке Новы Двур.

Я проснулся лишь на вторые сутки погожим июльским утром. Солнце уже поднялось, пахло медом и яблоками, царила удивительная тишина, и все было так необычно, что несколько секунд я оглядывался и соображал: что же произошло?.. Куда я попал?..

Наш тупорылый «додж» стоял в каком-то саду, под высокой ветвистой грушей, возле задней стены большой и добротной хаты. Рядом со мной на сене в кузове, натянув на голову плащ-палатку, спал мой друг, старший лейтенант Виктор Байков. Еще полмесяца назад и он и я командовали ротами, но после прямого попадания мины в командный пункт Витька исполнял обязанности командира батальона, а я — начальника штаба, или, точнее говоря, адъютанта старшего.

Я спрыгнул на траву и, разминаясь, прошелся взад и вперед около машины.

Сидя на земле у заднего ската и держа обеими руками автомат, спал часовой — молоденький радист с перебин-

тованной головою: последнюю неделю из-за нехватки людей мы были вынуждены оставлять в строю большинство легкораненых, впрочем, некоторые и сами не желали покидать батальон.

Я заглянул в его измученное грязное лицо, согнал жирных мух, ползавших по темному пятну крови, проступившей сквозь бинты; он спал так крепко и сладко, что я не решился — рука не поднималась — его разбудить.

Обнаружив под трофейным одеялом в углу кузова заготовленную Витькиным ординарцем еду, я с аппетитом выпил целую крынку топленого молока с ломтем черного хлеба; затем достал из своего вещмешка обернутый в кусок клеенки однотомник Есенина, из Витькиного — полпечатки хозяйственного мыла и, отыскав щель в изгороди, вылез на улицу.

Мощенная булыжником дорога прорезала по длине деревню; вправо, неподалеку, она скрывалась за поворотом, влево — уходила по деревянному мосту через неширокую речку; туда я и направился.

С моста сквозь хрустальной прозрачности воду отлично, до крохотных камешков проглядывалось освещенное солнцем песчаное дно; поблескивая серебряными чешуйками, стайки рыб беззаботно гуляли, скользили и беспорядочно сновали во всех направлениях; огромный черный рак, шевеля длинными усами и оставляя за собой тоненькие бороздки, переползал от одного берега к другому.

Шагах в семидесяти ниже по течению, стоя по пояс в воде, спиной к мосту и наклонясь, сосредоточенно возились трое бойцов; в одном из них я узнал любимца батальона гармониста Зеленко, гранатометчика, только в боях на Днепре уничтожившего четыре вражеских танка. Тихонько переговариваясь, они шарили руками меж коряг и под берегом: очевидно, ловили раков или рыбу.

Около них на ветках ивняка сохло выстиранное обмундирование. Там же, на берегу, над маленьким костром висели два котелка; на разостланной шинели виднелись банка консервов, какие-то горшки, буханка хлеба и горка огурцов.

Бойцы были так увлечены, а мне в это утро более всего хотелось побыть одному — я не стал их окликать и, спустясь к речке по другую сторону дороги, пошел тропинкой вдоль берега.

День выдался отменный. Солнце сияло и грело, но не пекло нещадно, как всю последнюю неделю. От земли, от высокой сочной луговой травы поднимался свежий и крепкий аромат медвяных цветов и росы; в тишине мерно и весело с завидной слаженностью трещали кузнечики.

Голубые, с перламутровым отливом стрекозы висели над самым зеркалом воды и над берегом; я было попытался поймать одну, чтобы рассмотреть хорошенько, но не сумел.

С удовольствием вдыхая чудесный душистый воздух, я медленно шел вдоль берега, глядел и радовался всему вокруг.

Как может перемениться жизнь человека! Просто даже не верилось, что еще недавно я, изнемогая от жары, напряжения и жажды, сидел в пулеметном окопчике на высоте 114 (я стрелял лучше других и в бою, когда мог, всегда брался за пулемет) и короткими отрывистыми очередями косил рослых, как на подбор, немцев, из танковой гренадерской дивизии СС «Фельдхернхалле», перебегавших и упрямо ползших вверх по склону.

Как-то не верилось, что совсем недавно, когда кончились патроны, не осталось гранат и десятка три немцев ворвались на высоту в наши траншеи, я, ошалев от удара прикладом по каске и озверев, дрался врукопашную запасным стволом от пулемета; выбиваясь из сил и задыхаясь, катался по земле с дюжим эсэсовцем, старавшимся — и довольно успешно — меня задушить, а затем, когда его прикончили, зарубил немца-огнеметчика чьей-то саперной лопаткой.

Все это было позавчера, но оттого, что я сутки спал и только проснулся, оттого, что это были самые сильные впечатления последних дней, мне казалось, что бой происходил всего несколько часов тому назад.

Я не удержался, раскрыл на ходу томик и начал было вполголоса читать, однако тут же решил покончить сперва со всем малоприятным, но неизбежным. На небольшом песчаном пляжике я скинул сапоги, быстро разделся и дважды старательно выстирал грязные, пропитанные потом, пылью, ружейным маслом и чьей-то кровью гимнас-

терку и шаровары, ставшие буквально черными портянки и пилотку. Затем, крепко отжав, развесил все сушиться на ветках орешника, спустился в воду и, простирнув самодельные плавки, начал мыться сам. Я намылился и со сладостным ожесточением принялся скрести ногтями голову и долго скоблил и тер все тело песком, пока кожа не покраснела и не покрылась кое-где царапинками. Последний раз я мылся по-настоящему недели три назад, и вода около меня, как и при стирке, сразу сделалась мутновато-темной.

Потом я плавал и, ныряя с открытыми глазами, гонялся в прозрачной воде за стайками мальков и доставал со светлого песчаного дна раковины и камешки; самые из них интересные и красивые я отобрал, решив, пока мы будем здесь находиться, составить небольшую коллекцию. Дома, в Подмосковье, у меня хранился в сенцах целый сундук всяких необычных камешков и раковин — собирать их я пристрастился еще в раннем детстве.

Немного погодя я вышел на берег, ощущая бодрость и приятную легкость во всем теле и чувствуя себя точно обновленным. Перевернув на ветках орешника быстро сохнувшие гимнастерку и шаровары, я со спокойной душой взял наконец книжку.

Я любил и при каждой возможности читал стихи, но Есенина открыл для себя недавно, когда в начале наступления, в развалинах на окраине Могилева, нашел этот однотомник; стихи поразили и очаровали меня.

На передовой я не раз урывками, с жадностью и восторгом читал этот сборничек, то и дело находя в нем подтверждение своим мыслям и желаниям; многие четверостишия я знал уже наизусть и декламировал их (чаще всего про себя) к месту и не к месту. Но отдаться стихам Есенина безраздельно, в покойной обстановке мне еще не доводилось.

Я начал читать, то заглядывая в книжку, то по памяти, начал с ранних, юношеских стихотворений:

...Ах, поля мои, борозды милые,
Хороши вы в печали своей!
Я люблю эти хижины хилые
С поджиданьем седых матерей.

...Ой ты, Русь, моя родина кроткая,
Лишь к тебе я любовь берегу.
Весела твоя радость короткая
С громкой песней весной на лугу.

Светлая речка в берегах, поросших ивняком, скошенный луг со стожками зеленого сена и молодыми березками на той стороне, золотистые ржи, уходящие к самому горизонту, и даже небо, светло-синее, с перистыми, прозрачно-невесомыми облаками — все до боли напоминало исконную срединную Россию и больше того — подмосковную деревушку, где родилась моя мать и где прошло в основном мое детство. И потому все вокруг было удивительно созвучно стихам Есенина, его восторженной любви к родному краю, к раздолью полей и лугов, к русской природе и человеку.

С волнением я читал, вернее, увлеченно декламировал, размахивая рукой и повторяя два-три раза то, что мне более всего нравилось:

...Много дум я в тишине продумал,
Много песен про себя сложил,
И на этой на земле угрюмой
Счастлив тем, что я дышал и жил.

Счастлив тем, что целовал я женщин,
Мял цветы, валялся на траве
И зверье, как братьев наших меньших,
Никогда не бил по голове...

Ах, до чего же хорошо, до чего же здорово!.. Я читал и читал, нараспев, взахлеб, растроганный до слез и забыв обо всем.

...Жизнь моя, иль ты приснилась мне?
Словно я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне...

Очарованный, я был как в забытьи и не знаю даже, почему обернулся — сзади меж двух орешин стояла и с любопытством смотрела на меня невысокая необычайно хорошенькая девушка лет семнадцати.



Она не смеялась, нет; лицо ее выражало лишь любопытство или интерес, но в глазах — зеленоватых, блестящих, загадочных,— как мне показалось, прыгали смешинки.

Я крайне смутился, и в то же мгновение она исчезла. Я успел разглядеть маленькие босые ноги и крепкую ладную фигурку под полинялым платьицем, из которого она выросла; успел заметить корзинку в ее руке.

Она появилась словно бы мимолетом и исчезла внезапно и неслышно, как сказочное видение. Понятно, я не верил в чудеса, и мне подумалось даже, что она спряталась в орешнике. Я проворно натянул шаровары — смешно же, наверно, я выглядел со своей декламацией, в самодельных, из портяночного материала плавках — и обошел весь кустарник, не обнаружив, однако, ни девушки, ни каких-либо видимых ее следов.

В раздумье вернулся я на берег, раскрыл томик и начал было снова читать, но не мог — мне вроде чего-то не хватало. Ну что за чертовщина; собственно говоря — чего?.. И вдруг со всей ясностью я осознал, что мне страшно хочется еще увидеть эту девушку, хоть на минутку, хотя бы одним глазком.

Я даже спрятался, присев под кустом, и прислушивался, надеясь, что, быть может, она появится. В самом деле, почему бы ей вновь не прийти сюда?.. Да что я ее съем или обижу?..

По-весеннему радостно звучало тихое птичье щебетание; в траве по-прежнему весело и неумолчно стрекотали кузнечики; но ни звука шагов, ни шороха я, как ни силился, уловить не смог.

Единственно, что я вскоре различил,— негромкий, нарастающий шум мотора. Спустя какую-то минуту, оборотясь, я увидел медленно ехавший через мост «виллис»; в офицере на переднем сиденье я сразу узнал командира нашей бригады подполковника Антонова. Живо сообразив, какая получится неприятность, если подполковник застанет и часового и комбата спящими, я с лихорадочной быстротой оделся, натянул сапоги и, на ходу поправляя и одергивая еще влажные местами гимнастерку и шаровары, во весь дух помчался к деревне.

Грешным делом, я почему-то надеялся, что командир бригады проследует, направляясь в другой батальон, или же, не заметив наш «додж», проедет в конец деревни и я успею добежать. Но увы... Выскочив на улицу, я увидел машину комбрига возле дома, где мы остановились.

Я не успел дойти до калитки, как со двора появился подполковник — высокий, молодцеватый, в свежих, тщательно отутюженных шароварах и гимнастерке с орденскими планками, в новенькой полевой фуражке и начищенных до блеска сапогах. Обтянутая черной глянцевитой лайкой кисть протеза недвижно торчала из левого рукава. Было ему лет тридцать пять, но мне в мои девятнадцать он казался пожилым, если даже не старым.

Он приказал водителю отъехать, отвечая на мое при-

ветствие, молча поднял руку к фуражке и, окинув меня быстрым сумрачным взглядом, поинтересовался:

— Вас что, корова жевала?.. Погладить негде?..— Он взял у меня книгу, с ловкостью двумя цепкими пальцами раскрыл, посмотрел и отдал обратно.

В ту же минуту из калитки, застегивая пуговицы воротничка, потирая глаза и оглядываясь по сторонам, торопливо вышел Витька, заспанный, без пилотки и без ремня, грязный и небритый.

— Чудесно! — сказал подполковник.— Комбат спит как убитый, начальник штаба почитывает стишата, а люди предоставлены сами себе! Охранение не выставлено, единственный часовой и тот спит! Кино! — возмущенно закричал он.— Безответственность!!! Немыслимая!!!

Витька недоуменно и растерянно посмотрел на меня. И только тут я вспомнил, что позапрошлой ночью, когда километрах в четырех от передовой мы грузились на машины, он приказал мне по прибытии на место выставить сторожевое охранение и набросать план действий в случае нападения противника. Однако люди валились с ног от усталости, а никакого наступления со стороны немцев не ожидалось (они ожесточенно сопротивлялись и даже контратаковали, но только накоротке — обороняясь). К тому же по дороге я убедился, что между передовой и Новы Двур, куда мы следовали, расположены части второго эшелона, что само по себе предохраняло от внезапного нападения. Успокоенный этим, я не смог более держаться, и сон мгновенно сморил меня.

Несомненно, я один был во всем виноват, но сказать об этом сейчас не решался: комбриг не любил, когда перед ним пытались оправдываться, и не терпел пререканий; считалось, что если он чем-либо недоволен, то лучше всего молчать. Виноват был я, а отвечать теперь в основном приходилось Витьке, причем я знал, что, как бы ему ни доставалось, в любом случае он и слова не скажет обо мне.

Мы стояли перед комбригом: я — вытянув руки по швам, покраснев и виновато глядя ему в лицо, а Витька — наклонив голову, как бычок, готовый ринуться вперед.

— В чем дело?! Объяснитесь! — после короткой паузы потребовал подполковник.— Может, война окончилась?..— с самым серьезным видом язвительно осведомился он.—

Тогда не хворые были бы и доложить, порадовать командование!..

И снова, помолчав, недовольно, с сердцем заявил:

— Воевать вы еще можете, но из боя вас выведешь и — ни к черту не годитесь! Один спит, другой стишками развлекается, а бойцы у вас на речке, посреди деревни, голышом, как на пляже, устроились! — с негодованием сообщил он.— И еще водку, навёрное, пьют!

— Люди измучены,— хрипловатым голосом упрямо проговорил Витька, хотя делать это ему бы не следовало.— Они заслужили отдых...

— Это не отдых, а разложение! — раздражаясь, вскричал комбриг.— Вы неопытны и не понимаете азбучных истин! Бездействие, как и безделье, разлагает армию! Пока прибудет пополнение и техника, мы простоим, возможно, не менее полутора-двух месяцев. Вы что же, так и будете погоду пинать?! Да вы мне весь батальон разложите!.. С завтрашнего дня,— приказал он,— каждое утро два часа строевой подготовки со всем личным составом! И три часа занятий по уставам и по тактике — ежедневно!..

В глубине двора послышался резкий неприятный скрип: створка ворот стоящей на задах большой риги приоткрылась и оттуда, из темноты, появился лейтенант Карев — новоиспеченный командир роты, третий из уцелевших офицеров батальона. Ну надо же было ему в эту минуту вылезти! Долгоногий, худощавый юноша, он в одних шароварах стал на траве, жмурясь от яркого солнца и не видя нас, с удовольствием потянулся вверх руками, улыбаясь и выгнув грудь.

— Потягушеньки! — сдерживая негодование, с язвительной насмешливостью произнес подполковник.— Это просто кино! — яростно воскликнул он.— А план действий на случай нападения противника у вас есть?! О боевом обеспечении вы позаботились?..

Витька, засопев, одарил меня исподлобья мгновенным бешеным взглядом; злой желвак перекатывался на его похуделой щеке.

— Я вас спрашиваю обоих,— повторил подполковник,— о боевом обеспечении вы позаботились?!

— Я, т-товарищ подполковник, п-понимаете...— начал я, но тут же умолк.

— Плана нет,— со свойственной ему прямотой без обиняков сказал Витька угрюмо.— И боевого обеспечения тоже. Это безответственность и мой недосмотр. Я за это отвечаю.

— Я недоволен вами! — властно и зло объявил Витьке подполковник (эти три слова выражали у него крайнее неодобрение) и немного погодя обратился ко мне: — Вот вы развлекаетесь, а донесения, требуемые по выходе из боя, отправлены?.. Похоронные заполнены? Списки потерь составлены?

Чувствуя себя кругом виноватым, я, потупясь, молчал.

— Даю вам час времени,— сообщил нам подполковник.— Выставить охранение, навести порядок и доложить!

И после короткой паузы продолжал:

— Создайте людям все условия. Обед сегодня по усиленной раскладке. Получить и выдать всему личному составу по сто граммов водки. Но никаких пьянок и никаких женщин!..

Он вскинул руку к фуражке и, вместо ожидаемого обычного «Выполняйте!», уже поворотясь и отходя, приказал:

— Отдыхайте!

Мы с Витькой, не двигаясь, наблюдали, как он быстрым и твердым шагом подошел к машине, сел, и тотчас «виллис», набирая скорость, покатился и скрылся за поворотом.

Витька перевел взгляд, посмотрел на меня, на томик Есенина в моей руке и, буквально дрожа от ярости, бешено выдохнул:

— Сюсюк!!!

И возмущенно, с непередаваемым презрением выкрикнул то, что уже не раз говорил мне, когда я читал стихи и упускал что-либо по службе:

— Пи-и-ижонство!.. А также гнилой сентиментализм!..

2

Минут десять спустя я сидел за столиком в саду и торопливо составлял требуемые документы. К сожалению, я почти не знал батальонного делопроизводства и к тому же

с детства испытываю неприязнь ко всякому письму. Но оба писаря были убиты, и по необходимости мне предстояло несколько дней самой упорной писанины.

Прибыли вызванные по тревоге командиры подразделений — старшина-артиллерист и четверо сержантов,— подошел и лейтенант Карев. Не отрываясь от бумаг, я сообщил, что необходимо немедля выставить охранение, представить отчетность по трем формам, а также выделить наряд на полевую кухню и послать машину на бригадный обменный пункт. Как я и ожидал, они начали спорить меж собой и препираться: в одной роте осталось четырнадцать человек, а в другой лишь пять, из них двое раненых; люди отсыпаются, моются, стирают и сушат обмундирование и так далее и тому подобное. Начался шумный разговор, но Витька прикрикнул, и все мгновенно умолкли.

Он брился, стоя у машины, поглядывая в зеркальце и напевая про себя, вернее, мыча мотив какого-то воинственного марша, что было у него признаком дурного настроения. Я чувствовал себя перед ним виноватым и, составляя документы, спешил и старался вовсю.

Мне он не сказал больше ни слова, но его ординарцу Семенову — ушлому, редкой смелости, однако бесцеремонному бойцу — крепенько попало. Поставленный часовым возле штабной машины, Семенов вздумал грызть яблоки. В другой день Витька не обратил бы на это внимания, но тут он с чувством высказал Семенову все, что о нем думал, и пригрозил, что заставит «месяц на кухне картошку чистить».

Отдав необходимые приказания, я отпустил командиров подразделений и снова занялся донесениями, когда послышался звонкий приятный голосок, певший по-польски, и я не без волнения увидел ту самую девушку, что уже видел мельком в орешнике на берегу.

Она шла тропинкой через сад, раскачивая в руке плетеную корзинку, ловко и грациозно ступая маленькими загорелыми ногами — как бы чуть пританцовывая,— и, словно не замечая нас, напевала что-то веселое.

Витька — он кончал завтракать,— опустив руку с куском хлеба, смотрел на девушку как зачарованный.

— Кто это? — прожевывая, с некоторой растерян-

ностью спросил он Семенова, как только она скрылась за углом хаты.— Семенов, кто это?

— Как кто? — обиженно сказал Семенов.— Хозяйкина дочь...

— Ясен вопрос,— медленно проговорил Витька.

И, поняв по его лицу и голосу, какое впечатление произвела на него маленькая полька, я не на шутку огорчился.

Дело в том, что он был старше меня, несравненно молодцеватей и представительнее; он уже знал женщин и, более того, считал себя — да и мне казался — бывалым и лихим сердцеедом.

— Города берут смелостью,— серьезно и значительно говаривал он,— а женщин — нахальством.

При этом у него делалось такое лицо, словно он сподобился постичь что-то настолько таинственное и необъяснимое, чего ни мне, ни другим понять никогда не суждено.

Не знаю, где он это услышал, у кого позаимствовал, но он так говорил, и я тогда в это верил.

Теперь-то, спустя многие годы, мне совершенно ясно, что Витька не был бабником, да и нахальничать, наверно, не умел — это не соответствовало его характеру; просто легкий успех у двух-трех одиноких женщин, встреченных им на дорогах войны, вскружил ему голову и породил излишнюю мужскую самоуверенность. Но тогда я всего этого не понимал и, убежденный в его неотразимости и нисколько не сомневаясь, что в любом случае ему будет отдано предпочтение, помнится, болезненно огорчился, заметив впечатление, произведенное на него девушкой, которая мне так понравилась.

С хмурым лицом подписав уже готовое донесение, он по моей просьбе расписался еще на нескольких листах чистой бумаги, чтобы я и без него мог отправить наиболее срочные документы, и ушел в подразделение.

Вернулся он через несколько часов, уже после полудня. Все это время я, не разгибаясь, сидел над бумагами, по неопытности путаясь и переписывая документы, затем наконец отправил два донесения с мотоциклистом в штаб бригады и, получив в ответ приказание незамедлительно представить отчетность еще по пяти формам, а также донести «о всех мероприятиях по маскировке, сохранению

военной тайны, ПВО, ПХЗ[1] и ПТО[2]», пришел в совершенное отчаяние. Та нескончаемая писанина, какая одолевает штабы, когда часть выводят из боя, и с которой в батальоне еле справляются три-четыре человека, навалилась на меня одного, со всей своей силой и неумолимостью. С непривычки отнималась рука, болела и плохо соображала голова, я чувствовал, что не справлюсь, но поделать ничего было нельзя — любому бойцу или сержанту, кого я захотел бы привлечь себе в помощники, потребовался бы допуск к секретной работе; Витька же и Карев были заняты с людьми в батальоне.

В душе несомненно завидуя им и мечтая поразмяться: побродить с однотомником во ржах за деревней или поплавать, позагорать на речке,— я сидел как привязанный и писал, мучаясь и многое переделывая. Между тем Зося — так звали маленькую польку,— помогая матери, возилась по хозяйству. Ее ясный голосок слышался то у хаты, то на огороде, то совсем близко за моей спиной или где-нибудь сбоку.

Каждый раз, когда она, напевая и ловко уклоняясь от веток, проходила или пробегала через сад у меня перед глазами, я непроизвольно смотрел ей вслед и, проводив взглядом ее легкую фигурку, давал себе слово больше не отвлекаться и не обращать на нее внимания; однако спустя некоторое время она появлялась опять, и все повторялось.

Ее мать, пани Юлия, седоволосая, лет сорока пяти женщина, с моложавым, добрым лицом и припухлыми усталыми глазами, стирала в тени у хаты; затем они обе ушли на огород, откуда доносились их негромкие голоса: живой и веселый — Зоси и медленный глуховатый — матери.

В полдень пани Юлия принесла мне чуть ли не полную крынку парного тепловатого молока и, что-то сказав, поставила на стол. Я поблагодарил заученным «бардзо дзенкую» и, когда она ушла, с удовольствием выпил часть, оставив бо́льшую половину Витьке.

Он вернулся веселый и, как всегда, полный энергии и жажды деятельности. Приветливый — словно утром ничего не произошло и комбриг не ругал его по моей вине,—

---

[1] Противохимическая защита.
[2] Противотанковая оборона.

он подошел ко мне и выложил на стол два спелых желтоватых яблока — видно, кто-то угостил его, а он принес мне. Пока я ел, он, присев рядом на корточки, с увлечением рассказал, какой богатый обед удалось организовать на батальонной кухне, и посмеялся, что кое-кто даже не пришел обедать — так хорошо здесь с продуктами и столь надоело бойцам котловое варево.

Тут же он предложил приготовить свое любимое блюдо — пельмени по-сибирски,— живо поднялся и послал Семенова на мотоцикле раздобыть муки и мяса, а сам, смахнув пыль с сапог, пошел в хату знакомиться с хозяевами.

Минут через пять я увидел его на дворе возле поленницы,— скинув ремень и гимнастерку, он колол дрова.

С малолетства привычный ко всякой крестьянской работе, ловкий, широкогрудый, обладая медвежьей, без преувеличения, силой, он легко и скоро разделался с небольшим штабелем — как семечки пощелкал — и помог пани Юлии уложить наколотые ровными четвертинками поленца. Потом в ожидании Семенова какое-то время сидел на виду во дворе и, тихонько пощипывая струны, сосредоточенный и важный, любовно настраивал свою гитару.

Это была его гордость и очень дорогая игрушка — захваченная в немецком генеральском блиндаже, инкрустированная перламутром роскошная концертная гитара, изготовленная собственноручно знаменитым венским мастером Леопольдом Шенком, чье имя и фамилия вместе с тремя призовыми медалями были выведены золотом на нижней деке, в провале голосника.

Витька болезненно дорожил этим редкостным по красоте и звучанию инструментом и даже приятелям неохотно давал в руки, что не раз служило поводом для товарищеской подначки. Во время боев гитара хранилась на складе хозчасти батальона в специальном футляре, под замком, обернутая еще поверх для пущей предосторожности трофейными одеялами.

Я слышал, как подъехал Семенов и как Витька одобрил привезенное им мясо. Когда примерно через час я отправился к хате, чтобы подписать документы, стряпня была в полном разгаре.

Пани Юлия готовила салат из огурцов и редиски со

сметаной, а Витька и под его руководством Семенов и Зося дружно и споро делали пельмени. На широкой кафельной плите уже что-то тушилось или жарилось.

Зося раскатывала нарезанное маленькими кружочками тесто в крохотные тонкие блиночки, а Семенов во второй или третий раз — для большей нежности — пропускал фарш через мясорубку.

Витька же, с головой, покрытой вместо поварского колпака чистым носовым платком, успевая приглядывать за помощниками, поправлять, поторапливать и подбадривать их, выполнял самые трудные и ответственные операции: кончиком финки проворно клал небольшие кусочки фарша на раскатанные блиночки, затем, подготовив таким образом несколько рядов, быстрыми, сноровистыми пальцами мгновенно защипывал края.

Я не стал заходить в хату; Витька, прямо на подоконнике подписав принесенные мною документы, поинтересовался:

— Еще много?

— Хватит,— промолвил я, уголком глаза незаметно наблюдая за старательными движениями Зосиных рук.

— Ты давай закругляйся! — распорядился он и, посмотрев на часы, с шутливой официальностью объявил: — В шестнадцать тридцать — обед по усиленной раскладке. Форма одежды — парадная; явка офицерского состава — обязательна! — Он весело приложил руку к носовому платку на голове.— Выполняйте!..

3

Я пришел последним, когда в большой, сравнительно прохладной комнате, за столом, по-праздничному уставленным едой и питьем, уже сидели и хозяева и гости. Кроме Карева, Семенова и меня, приглашены были, надо полагать хозяйкой, еще трое — худой, с тонким орлиным носом, вислыми, как у запорожца, усами и светлыми на загорелом лице глазами старик Стефан — двоюродный брат пани Юлии, и две женщины: рыжевато-седая, неулыбчивая соседка, за весь обед не сказавшая и пяти, наверное, слов и посматривавшая на нас недоверчиво, с очевидной

настороженностью, и Ванда, молодая, красивая, с подбритыми бровями, сильным телом и высокой торчащей грудью.

Витька чинно помещался во главе стола. Возле него сидели с одного боку пани Юлия, а с другого — Стефан. Когда я вошел, старик рассказывал, как невесело и трудно жилось при немцах. Хотя наведывались они в Новы Двур не часто, но внезапно и довольно опустошительно: рыская по хатам, ригам и погребам, забирали вещи и некоторые продукты; год тому назад, оцепив неожиданно деревушку, угнали всех мужчин от семнадцати до пятидесяти пяти лет, а отступая, увели лошадей — нещадно, до единой.

Последствия этого недавнего мародерства тревожили Стефана, пожалуй, более всего.

— Что делать, а?..— озабоченно спрашивал он у Витьки.— Ни землю вспахать, ни дров привезти, что же теперь — капут?..

Он свободно с незначительным акцентом говорил порусски, нередко и к месту употребляя простонародные речения, старые присловицы и прибаутки. Как далее я узнал, многие годы он служил солдатом в царской армии, воевал еще с японцами, в Маньчжурии, а спустя десять лет — и с немцами, где-то в Галиции. Слушая, он тут же с ходу переводил; разговор за столом велся в основном с его помощью.

Я сел на свободное место между Стефаном и молчаливой полькой; напротив меня оказались Карев и Зося.

Она была в нарядной цветастой блузке с короткими рукавами; у шеи, в небольшом вырезе виднелась тонкая серебряная цепочка, на каких носят нательные крестики. Впрочем, и блузку и цепочку я разглядел позднее: первое время — до того, как немного охмелеть,— я и глаз на Зосю не решался поднять.

Стол по военному времени был обильный и весьма аппетитный: тарелки с салатами и огурцами; вазочки, полные сметаны; два блюда с розоватыми, веером разложенными ломтиками сала; большущая, только что снятая с плиты сковорода молодого тушеного картофеля; горки щедро нарезанного, нашего армейского, а также хозяйкиного, невешанного, домашней выпечки, светлого и пышного хлеба. Еще предстояли пельмени, придерживаемые Витькой как гвоздь обеда.

И питья тоже хватало: графины с бимбером — ароматным и очень крепким польским самогоном, пол-литра водки, полученной Семеновым на нас четверых, и высокие бутыли с коричневатой пенистой брагой.

На комоде за спиной Карева торжественно покоилась великолепная Витькина гитара; чуть выше на стене висело несколько фотографий, причем я обратил внимание на две большие, одинакового размера карточки чем-то весьма похожих мужчин — юноши и пожилого — в польской военной форме.

Витька налил бимбер в стаканы себе и Стефану и, передав графин Кареву, плеснул мне в рюмку немного водки, заметив при этом вскользь, что я не совсем здоров.

Это было неверно. Просто я не любил, да и не умел пить, и он наверняка побаивался, что я опьянею.

— За освобождение Польши! — поднимаясь со стаканом в руке, провозгласил он затем.

Мы выпили и принялись закусывать.

Я проголодался, но, чувствуя себя несколько стесненно, ел маленькими кусочками, медленно и осторожно, стараясь не чавкнуть и правильно держать вилку, от которой совсем отвык.

Стефан продолжал рассказывать, как им жилось при немцах, как их обирали. Витька, с аппетитом уминая тушеный картофель, слушал его, не перебивая, но, думается, и без особого сочувствия: мы прошли Смоленщину и Белоруссию — порушенные города и спаленные дотла деревни, где в целой округе не то что коровы, но и кошки живой не сыщешь; мы видели такое страшное опустошение и обнищание, после которых Польша да и Западная Белоруссия, как бы они ни пострадали, могли нас только удивлять и радовать своим сравнительным достатком.

Витька не терпел, чтобы его называли «пан», как это принято в Польше, и здесь он уже успел провести разъяснительную работу: Стефан, обращаясь к нему или к комунибудь из нас, говорил «товарищ официэр» или же просто «товарищ».

Не знаю, подействовало ли на меня то небольшое количество водки, но, выпив затем в два приема еще около стакана браги и почувствовав себя чуть свободнее, смелее, я начал вскоре украдкой поглядывать на Зосю.

Нет, я не обманулся, мне ничуть не пригрезилось... Все было пленительно в этой маленькой девушке: и прекрасное живое лицо, и статная женственная фигурка, и мелодический звук голоса, и темно-зеленые сияющие глаза, и то радушие и вопрошающее любопытство, с каким она смотрела на нас.

Держалась она непринужденно и просто, как и подобает хозяйке. Помогая матери, угощала гостей, бегала в кухоньку за посудой, улыбалась и, чтобы поддержать компанию, даже пригубила бимбера — поморщилась, но глотнула. Потом, не скрывая заинтересованности, внимательно вслушивалась в русскую речь Стефана, будто старалась постичь, о чем он говорит и какое впечатление производят на нас его слова, не упуская при этом милым женским движением поправлять густые и непослушные каштановые волосы.

Иногда наши взгляды на мгновение встречались, и с невольным трепетом я ловил в ее глазах поощряющую приветливость, ласковость и еще что-то, волнующее, необъяснимое, причем мне подумалось, что до этой минуты никто и никогда не смотрел на меня так...

Карев, сын какого-то ленинградского профессора, самый из нас учтивый и предупредительный, успевал галантно ухаживать за женщинами: подкладывал им на тарелки закуску, предлагал хлеб и наливал брагу в стаканы. Понаблюдав, я решил последовать его примеру и, поддев большой ложкой горстку салата, хотел положить на тарелку Ванде, но она поспешно и весело воскликнула: «Дзенкуе! Не!..»[1] — подкрепив отказ энергичным жестом; на меня посмотрели, и, в смущении зацепив рукавом высокую вазочку со сметаной, я едва не опрокинул ее, тут же дав себе слово больше не вылезать.

Витька обычно легко сходился с людьми, особенно простыми, а тем более с крестьянами. И здесь, спустя полчаса, выпив не один стакан бимбера, он уже обращался к Стефану приятельски, на «ты», дымил вместе с ним забористым самосадом, звучно смеялся, шутил и называл его доверительно, по-свойски — Степа.

Используя свое крайне скудное, как и у всех нас,

[1] Спасибо! Не хочу!.. *(польск.)*

знание польского языка — десятка три-четыре слов,— Карев пытался разговаривать с Зосей. Она слушала его с веселой, чуть лукавой улыбкой, смеялась неверному произношению, быстро и озорно что-то переспрашивала, и он, почти ничего не понимая, приподняв плечи, весьма комично выражал на лице преувеличенное недоумение и разводил руками.

Витька через Стефана тоже несколько раз обращался к Зосе со всякими пустячными вопросами, явно желая завязать беседу и познакомиться поближе; без удовольствия наблюдая за всем этим, я решил, что мне также надо обязательно с ней заговорить. Я полагал даже, что имею некоторое преимущество. У меня в кармане лежал полученный только что из штаба бригады в одном-единственном экземпляре «Краткий русско-польский разговорник», который, очевидно, должен был облегчить общение с местными жителями, и, признаться, я возлагал немалые надежды на эту крохотную, размером с удостоверение личности, книжицу.

Достав ее потихоньку из кармана и поместив незаметно на коленях, я исподволь просмотрел все от начала и до конца. В ней было свыше тридцати коротеньких разделов, и, кажется, были предусмотрены все возможные случаи не только на земле, но и на воде или в воздухе. Я мог, например, без малейшего труда и промедления осведомиться о столь различных вещах: «Знаете ли вы, где скрываются оставшиеся немецкие солдаты и офицеры?..», «Скажите, известно ли вам, где немцы заминировали местность?..», «Прошу быстро показать, на каком пути стоят цистерны с горючим?..» Или: «Можно ли перейти реку вброд?.. Где?.. Могут ли переправиться танки?..», «Сколько сброшено парашютистов?..», «Где приземлились планеры?..»

Но к чему мне была в тот час вся эта опросная лабуда?..

Из всех разделов наиболее соответствовал моему стремлению предпоследний — «Разговор на общие темы». К великой досаде, в нем оказалось всего лишь пятнадцать фраз, из них самыми невоенными и человеческими были: «Здравствуйте!..», «Благодарю вас!..», «Как вас зовут?» (Но я с утра знал, что ее зовут Зося...) «Пожалуйста, закурите...» (Еще не хватало, чтобы и предложил ей закурить!) «Как истинный поляк вы должны нам помочь в

борьбе против нашего общего врага — немца...», «Где находится ближайшая аптека (больница, баня)?..»

Обескураженный, я спрятал книжечку в карман, сказав самому себе, что обойдусь и без нее.

Стефан — слушал ли он или говорил — своими умными с хитринкой глазами внимательно присматривался к нам, как бы желая определить, что мы, «радецкие», за люди, насколько изменились русские за три без малого десятилетия с тех времен, когда он служил в царской армии, и, наверно, более всего хотел бы разведать и уяснить, чего от нас следует ждать?

Слегка, приятно опьянев и ободренный к тому же Зосиной приветливостью, я начал поглядывать на нее чуть длительнее, как вдруг она мгновенно осадила меня: посмотрела в упор, строго и холодно, пожалуй, даже с оттенком горделивой надменности.

Ошеломленный, я и представить себе не мог причины подобной перемены. Да что я такого сделал?.. Неужто позволил лишнее?.. А может, это была та самая игра, какую подсознательно уже многие века и тысячелетия ведет слабая половина рода человеческого с другой, более сильной?.. Не знаю. Если даже и так, то я в ту пору был еще слишком робок и неопытен, чтобы принять в ней участие.

Я терялся в догадках, впрочем, спустя какую-нибудь минуту Зося взглянула на меня с прежней веселостью и радушием, и я тотчас внутренне ожил и ответно улыбнулся.

Вскоре я заметил или мне показалось, что она поглядывает на меня чаще, чем на Витьку или Карева, и как-то особенно: ласково и выжидательно — словно хочет со мною заговорить либо о чем-то спросить, но, по-видимому, не решается. И всем существом своим я внезапно ощутил смутную, но сладостную надежду на вероятную взаимность и начало чего-то нового, значительного, еще никогда мною не изведанного. Я уже почти не сомневался: между нами что-то происходило!

Хмель развязал понемногу языки и растопил некоторую первоначальную сдержанность. Ванда, чему-то про себя усмехаясь, довольно откровенно посматривала на Витьку, что было с ее стороны безусловной ошибкой: по Витькиному убеждению, наступать полагалось мужчине, а женщинам следовало только обороняться; к тому же он не признавал в

жизни ничего легкого, достающегося без труда и усилий.

Я снова поймал на себе загадочно-непонятный, но вроде бы выжидательный взгляд Зоси и буквально через мгновение ощутил легкое, как мне показалось, не совсем уверенное прикосновение к своему колену — у меня перехватило дыхание, а сердце забилось часто и сильно.

Надо было действовать! Не теряя времени, немедля!

«Смелостью берут города...— подбодрил я себя.— Не будь рохлей!.. Ну!..» И с внезапной решимостью я подвинул вперед ногу. В тот же миг Карев поморщился от боли — у него осколком была задета коленная чашечка,— взглянул под стол и, ничего не понимая, вопросительно посмотрел на меня.

Я сидел, сгорая от конфуза, но Зося, кажется, ничего не заметила, а если и заметила, то виду не подала. Немного погодя она что-то сказала Стефану, и он, улыбаясь, обратился ко мне:

— Товарищ молится богу?

— Нет, почему? — удивился я.

— Зоська говорит, что товарищ на речке молился.

Так вот что ее интересовало! Только-то и всего?!

— Это не молитва...— Я покраснел и опечалился.— Совсем...

— Это стихи,— услышав и сразу сообразив, пояснил Витька и огорченно, с укоризной посмотрел на меня.— Вот видишь...

Было бы неверно сказать, что Витька не любил поэзию — он ее просто не понимал.

— Чушь! — например, от души возмущался он.— Да где он видел розового коня?! Я же сам из крестьян! Навыдумывают черт-те что!

Стефан, должно быть, не знал или позабыл, что означает слово «стихи» и, повторив его медленно вслух, недоуменно пожал плечами.

— Ну, Пушкин...— еще более смутясь, проговорил я.

— А-а-а...— Он улыбнулся и сказал что-то Зосе.

Витька же, не упустив случая, заявил, что церковь — это опиум и средство угнетения трудящихся и что с рели-

гией и с богом у нас в основном покончено. Если где и остались еще одиночные верующие, то это темные несознательные старики, отживающие элементы, а молодежь-де такой ерундой не занимается, и девушка вроде Зоси — он показал на нее взглядом — постыдилась бы носить на шее цепочку с крестом...

Кажется, он не сказал ничего обидного, но как только Стефан перевел, произошло неожиданное: Зося, вспыхнув, пламенно залилась краской, ее нежное, матово-румяное лицо в мгновение сделалось пунцовым, глаза потемнели, и пушистые цвета каштана брови задрожали обиженно, как у ребенка.

Я даже не без страха подумал, что она вот-вот расплачется, но она, с гневом и презрением посмотрев на Витьку, вдруг энергичным движением вытащила из-за пазухи цепочку с католическим крестиком и вывесила его поверх блузки, вскинув голову и с явным вызовом выпятив вперед грудь.

В ее лице, осанке и взгляде выразилось при этом столько чувства, столько негодования, гордости и нескрываемого презрения, что Витька подрастерялся. Бодливо наклоня голову, он посмотрел на меня, затем на Карева, словно ища поддержки или призывая нас в свидетели и как бы желая во всеуслышание заявить: «Вы видите, что она вытворяет?!»

Пани Юлия быстро, умоляющим голосом о чем-то просила Зосю, и Стефан, нахмурясь, тихо, но твердо сказал ей несколько слов, очевидно предлагая спрятать крестик, однако Зося, пунцово-красная, разгневанная, уставясь прямо перед собой, сидела не двигаясь, только взволнованно поднималась маленькая грудь.

В напряженной тишине угрожающе сопел Витька, и, зная его, я, конечно, понимал, что стерпеть подобную демонстрацию и промолчать он будет просто не в состоянии.

— Кстати, у нас, в Советском Союзе,— вдруг послышался голос Карева,— свобода вероисповедания! И чувства верующих уважаются государством!

Он сказал это ни к кому, собственно, не обращаясь, отчетливо и так громко, словно выступая перед большой аудиторией. Витька исподлобья посмотрел на него, сосре-

доточенно соображая, вероятно, смекнул, что в данном случае не следует выставлять принцип и что лучше уступить, и, наконец, пересилив себя, заговорил со Стефаном о хлебах.

Спустя буквально минуту он, словно ничего и не было, радушно беседовал с пани Юлией и Стефаном и даже улыбался, однако Зося успокоилась и отошла еще не скоро. Напрасно Карев старался отвлечь ее, рассмешить или как-то расшевелить — она сидела все еще оскорбленная, молчаливая и строгая, не замечая Витьки или, во всяком случае, не глядя в его сторону. Прошло порядочно времени, прежде чем она несколько смягчилась и начала улыбаться, однако крестик так и не убрала — он по-прежнему висел поверх блузки.

Между тем Витька, сварив в крепком мясном бульоне пельмени, сам разложил их на тарелки и показал, как надо их есть, хорошенько полив сделанным им по особому рецепту острым соусом из уксуса и горчицы. Готовил он необычайно вкусно, а пельмени по-сибирски были его коронным блюдом, и не удивительно, что, отведав, и пани Юлия, и гости отметили его кулинарное искусство и довольно быстро опустошили два больших блюда. Мне очень нравилась Витькина стряпня, и, наверно, я тоже съел несколько штук, но точно не знаю — в тот час мне было не до пельменей.

Все это время я то и дело поглядывал на Зосю, впрочем, думается, не больше, чем на Стефана или пани Юлию. Только на них я смотрел не стесняясь, преимущественно по необходимости, для маскировки, а на Зосю — украдкой, как бы мимолетом и невзначай, млея от нежности и затаенного восторга.

Даже когда я не смотрел на нее, я каждый миг ощущал ее присутствие и не мог думать ни о чем другом, хотя пытался прислушиваться к разговору, улавливал отдельные фразы и даже улыбался, если рядом смеялись.

Со мною творилось что-то небывалое. Еще никогда в жизни я не испытывал такого волнения при виде девушки или женщины, хотя влюблялся уже не раз, причем впервые, когда мне было всего пять или шесть лет и моей «пассии» примерно столько же. Последний же предмет

моих сокровенных вздыханий, санитарка из соседнего батальона Оленька, была в начале наступления тяжело ранена и находилась где-то в тыловом госпитале, ничуть и не подозревая о моих чувствах.

Тогда, в юности, я частенько говорил стихами, справедливо полагая, что очень многие мысли и желания выражены поэтами несравненно лучше, ярче и точнее, чем это удалось бы мне. И сейчас в голове моей неотвязно вертелось:

Дорогая, сядем рядом,
Поглядим в глаза друг другу...

Ах, если бы я смел сказать это Зосе, если бы я только мог и умел!..

Разговор по-прежнему велся главным образом между Витькой и Стефаном — хозяйственный, по-крестьянски обстоятельный и во многом непонятный для меня или Карева — о землях и пахоте, об урожаях, надоях и кормах. Беседовали они спокойно и неторопливо, пока Стефан не поинтересовался тем, о чем нас уже спрашивали и в других деревнях: будут ли в Польше колхозы и правда ли, что всех поляков станут переселять в Сибирь?

Витька — он был родом из-за Омска,— как и обычно в таких случаях, ужасно обиделся и оскорбился.

— Ты, Степа, говори, да не заговаривайся! — сбычась, рассерженно воскликнул он.— С чужого голоса поешь! Тебе Сибирь что — место каторги и ссылки?! Ты ее видел?.. Из окошка? Проездом?.. Да я свою Михайловку на всю вашу округу не променяю! — потемнев от негодования, запальчиво вскричал он.— На всю вашу Европу!.. С чужого голоса поешь! От немцев нахватался?! Позор!.. Я за такие байки любому глотку порвать могу — учти!..

Стефан — он был заметно под хмельком,— ошарашенный столь внезапным оборотом до того спокойного и дружелюбного разговора, приложив руку к груди, растерянно бормотал «пшепрашам паньства» и, как мог, извинялся. Остальные притихли, причем Зося с откровенной неприязнью смотрела на Витьку. Ощущая немалую неловкость, я тоже молчал, и снова находчиво и удачно вмешался Карев:

— Давайте выпьем за Михайловку,— весело предложил он, доливая в стакан Стефану,— и за Новы Двур!

Я уже достаточно опьянел, но попытаться заговорить с Зосей все никак не решался. Для смелости требовалось еще, и неожиданно для самого себя, взяв у Карева графин, я наполнил бимбером свой стакан из-под браги.

Витька, все еще нахохленный после разговора о колхозах и Сибири, посмотрел на меня с удивлением и очевидным недовольством, хотел что-то сказать, но засопел и промолчал.

До того дня мне никогда не доводилось выпивать сразу столько водки, а тем более неразбавленного самогона, и делать это, разумеется, не следовало. Однако меня подзадорило высказанное ранее Стефаном замечание, что, дескать, немцы слабоваты против нас — пьют крохотными рюмками,— на меня повлияло и присутствие Зоси, и стремление обрести наконец смелость, необходимую, чтобы заговорить с ней. Недовольство же Витьки показалось мне явно несправедливым — да что, в самом деле, я хворый, что ли?!

Впрочем, отступиться было уже невозможно; я с небрежным видом — мол, подумаешь, эка невидаль! — поднял стакан и, улыбаясь, бодро посмотрел на Стефана и пани Юлию: «Сто лят, панове!..» Запомнилось, что пани Юлия глядела на меня задумчиво и грустно, подперев щеку ладонью, совсем как это делала моя бабушка.

Я знал понаслышке, что такое бимбер, и все же не представлял, сколь он крепок — настоящий горлодер! Я ожегся и поперхнулся первым же глотком, в глазах проступили слезы, и, с ужасом чувствуя, что вот сейчас оконфужусь, я, еле превозмогая себя, умудрился выпить все без остатка и, лишь опустив стакан и заметив, что на меня смотрят, заметив внимательный и вроде насмешливый взгляд Зоси, закашлялся и покраснел, наверно, не только лицом, но даже спиной и ягодицами.

Мне сразу сделалось жарко и неприятно; я сидел стесненный, ощущая ядреный самогон не только в голове, но и во всем теле, ничего не видя и не замечая малосольный огурец и кусок хлеба, которые совал мне сбоку Стефан, напевавший при этом:

Мы млодзи, мы млодзи,
Нам бимбер не зашкодзи.
Венц пиймы го шклянками,
Кто з нами, кто з нами!..[1]

Через несколько минут я понял, что совершил непоправимое,— и дернула меня нелегкая выпить эту свирепую гадость! Я пьянел стремительно и неотвратимо; все вокруг затягивало прозрачной пеленой — и стол, и лица людей я видел уже как сквозь воду.

Снова вытащив разговорник, я начал его листать, однако вспомнил, что он бесполезен, и сунул назад в карман. В голове слегка шумело и путалось, но одна мысль ни на мгновение не оставляла меня; я должен — во что бы то ни стало! — заговорить с Зосей.

Я все-таки соображал, что она меня не поймет, и, поворотясь, крепко взял Стефана за руку — чтобы привлечь его внимание — и, сжимая ему ладонь, требовательно сказал:

— Прошу вас — переведите! — Затем, постучав кулаком по столу, прикрикнул на всех: — Минутку! — и для внушительности строго уставясь Стефану в лицо и стискивая ему руку, громко, должно быть чересчур громко, продекламировал:

Дорогая, сядем рядом!
Поглядим в глаза друг другу!
Я хочу под кротким взглядом
Слушать чувственную вьюгу!

Стефан и рта не успел раскрыть — недоумело улыбаясь, он смотрел на меня,— как слева оглушительно захохотал Семенов, и еще кто-то засмеялся.

— Сюсюк! — тотчас услышал я над ухом разгневанный голос Витьки.— Даже пить не умеешь! Погоны позоришь и Советский Союз в целом!.. Проводить тебя?!

[1] Мы молоды, мы молоды,
Нам бимбер не повредит.
Так пьем же его стаканами,
Кто с нами, кто с нами!.. *(польск.)*

— Не-е-ет! — замотав головой, громко и решительно заявил я.

Мне теперь и море было по колено. Я смотрел на Зосю, но уже не видел отчетливо: ее лицо двоилось, плясало, расплывалось, а мне было жарко и худо, спустя же какие-то полминуты начало основательно мутить.

Я поднялся и, удерживая равновесие, пошатываясь и на что-то натыкаясь, двинулся к дверям.

Карев догнал меня в сенях и, полуобняв, вывел на крыльцо, но мне это не понравилось, и я вывернулся, оттолкнув его.

— Я провожу вас...

— Не-ет! — сердито закричал я.— Сам!

И он послушно ушел.

Я постоял на крыльце, с облегчением вдыхая свежий воздух, обиженный на все и на всех, затем решил: «А ну их к черту!» — шагнул и полетел со ступенек вниз, больно ударясь обо что-то лицом.

Потом я оказался на задах, у риги, и Семенов — это был он,— держа меня под руку, презрительно говорил:

— Эх, назола! Всю рожу ободрал...

Он пригнул мою голову книзу, сунул мне в рот свои пальцы и, когда меня вырвало, вытирая руку о голенище, наставительно сказал:

— Газировочку надо пить. И не больше стакана — штаны обмочите...

* * *

Я очнулся поздним вечером в душной риге на охапке сена. Левая створка ворот была распахнута, и прямо перед моими глазами тихая нежная луна низко стояла над садом, а дальше, разбросанные в темно-синем небе, искрясь, трепетали десятки звезд.

Совсем рядом, чуть ли не задевая меня хвостами и тихонько повизгивая, возились, играя, какие-то собаки — три или четыре,— не обращая на меня ни малейшего внимания. Во рту было противно, голова разламывалась от боли, и руки, шея, лицо и даже тело под гимнастеркой и шароварами отчаянно чесались и горели — я весь был искусан блохами.

Откуда-то издалека доносилось запоздалое пение оди-

нокого соловья, а около хаты слышались звуки Витькиной гитары, шарканье ног, веселые голоса и смех.

Играл Витька, откровенно сказать, неважно. Как правило, его умение сводилось к довольно заурядному и почти однообразному аккомпанементу, правда, он это объяснял тем, что гитара-то шестиструнная, а он, мол, привык к отечественной — семиструнной. Да и пел он средне, без особого таланта, но я его любил, и, должно быть, поэтому мне нравилось.

Сейчас он не пел, а бренчал что-то похожее на вальс — там, возле хаты, танцевали. И Зося тоже, наверное, танцевала; собственно говоря, а почему бы и нет?.. Там, несомненно, было весело; и ей, очевидно,— тоже. Ну и пусть, и пусть...

Не жалею, не зову, не плачу,—

убеждал я самого себя.—

Все пройдет, как с белых яблонь дым...

Я лежал, прислушиваясь к смеху, шарканью и голосам, и мучился не только душевно: злые неуемные блохи жиляли меня, жгли как огнем.

Немного погодя в ригу, чуть прихрамывая и нетвердо ступая, пришел Карев. Он присветил фонариком и, увидев меня, необычным полупьяным голосом заговорил:

— Вы не спите?.. Пойдемте на воздух — здесь полно блох. Вас не кусают?

Я был нещадно искусан, но чувство обиды и противоречия еще не совсем оставило меня.

— Нет! — ощущая сильнейшую головную боль, упрямо сказал я.— Никуда я не пойду.

Карев, обычно молчаливый, подвыпив, становился словоохотливым и сейчас, взяв с сена свою шинель и встряхнув ее, продолжал:

— А какой все-таки молодчага наш командир батальона! Простоват, но орел орлом!.. Великая это вещь — обаяние силы! Вы заметили: они все смотрят на него восторженно и влюбленно!

— Так уж все?

— Клянусь честью — и старые и молодые! А со Сте-

пой он дважды целовался... Молодчага и хват,— воскликнул Карев восхищенно,— ничего не скажешь! Одного лишь бимбера выпил больше литра, и как стеклышко!.. А я вот еле держусь... И вы знаете, он бесконечно прав: женщинам нравятся сильные и решительные! До наглости самоуверенные, идущие напролом!.. А вот мы с вами слишком интеллигентны, чтобы пользоваться успехом... Никчемная интеллигентность,— раздумчиво и огорченно вздохнул он,— будь она трижды неладна!.. Тут, понимаете... с женщинами необходима боевая наступательная тактика,— он взмахнул сжатой в кулак рукой,— напористость, граничащая с нахальством!..

Я мог, конечно, разъяснить ему, что мой отец — потомственный рабочий, а мать — ткачиха, причем из бедной крестьянской семьи, и что сам я попал на войну со школьной скамьи, еще не успев стать интеллигентом, и что дело, по-видимому, в чем-то другом, но мне не хотелось говорить. И я лишь заметил, медленно и с трудом произнося слова:

— А я не ставлю себе целью кому-нибудь нравиться. Тем более женщинам. Меня это ничуть не волнует...

4

Я проснулся на рассвете с тяжеловатой головой и чувством огорчения и стыда за вчерашний вечер, за свою опьянелость и мальчишески-дурацкое поведение. Встал хмурый, а когда, умываясь возле машины, глянул в зеркальце и увидел на носу и на скуле багровые ссадины,— совсем расстроился. Однако сожалеть и предаваться угрызениям было некогда — не завтракая, я тотчас принялся за работу.

Когда поднялся Витька, я уже закончил донесения о мероприятиях по маскировке, ПВО и ПХЗ, дал ему подписать и отправил с мотоциклистом в штаб бригады.

Мы позавтракали у машины втроем — Витька, Карев и я, причем они, избегая разговора о вчерашнем и словно не замечая, что у меня окорябаны нос и скула, обсуждали план занятий с подразделениями по уставам и по тактике, интересуясь и моим мнением.

После их ухода, составив не без труда еще одно срочное донесение, я занялся похоронными.

Мне предстояло заполнить двести три совершенно одинаковых форменных бланка, вписав в каждый: адрес, фамилию и инициалы одного из близких погибшего, а также воинское звание, фамилию, имя, отчество убитого, год и место его рождения, дату гибели и место захоронения.

Исполненный великолепным каллиграфическим почерком образец, присланный из штаба в качестве эталона, лежал передо мною, все нужные сведения также имелись, и, приступая, я почему-то мельком подумал, что это простая механическая работа, несравненно более легкая, чем составление неведомых мне отчетностей и донесений,— как же, однако, я ошибался!

Многих из убитых я знал лично, некоторые были моими товарищами, двое — друзьями. И, начав писать, я целиком погрузился в воспоминания; я как бы вторично проделывал восьмисоткилометровый путь, пройденный батальоном за месяц наступления, еще раз участвовал во всех боях, опять видел и переживал десятки смертей.

И вновь на моих глазах тонули в быстром холодном Немане автоматчики из группы захвата старшего лейтенанта Аббасова, веселого и жизнерадостного бакинца, часа два спустя — уже на плацдарме — раздавленного тяжелым немецким танком.

Опять я слышал, как, лежа с оторванными ногами на минном поле, кричал, истекая кровью, мой связной Коля Брагин, славный и привязчивый деревенский паренек, единственный кормилец разбитой параличом матери.

Я снова видел, как через пустошь на окраине Могилева, увлекая за собой бойцов и силясь преодолеть возрастную одышку, бежал впереди всех пожилой и мудрый человек, в прошлом инженер-механик, парторг батальона лейтенант Ломакин, и падал на самом всполье, разрезанный пулеметной очередью.

И, прокусив от страшной, нечеловеческой боли насквозь губу, еще раз корчился сожженный струей из огнемета мой любимец и лучший боец, владивостокский грузчик Миша Саенко.

И, лежа на дне окопа с животом, распоротым осколком мины, тихонько стонал и в забытьи слабеющим, еле слышным голосом звал: «Ма-ма... Ма-ма... Ма-мочка...» — командир батареи Савинов, старый — по возрасту годный мне чуть ли не в дедушки — учитель математики из-под Смоленска, редкой душевности человек.

И снова... Опять... И вновь...

Все они, да и десятки других убитых были не посторонние, а хорошо знакомые и близкие мне люди. Заполняя извещения, я смотрел в тетради учета личного состава, листал уцелевшие красноармейские книжки, офицерские удостоверения, узнавал о некоторых из погибших что-то новое, подчас неожиданное, припоминал, и они явственно, словно живые, вставали передо мной, я слышал их голоса и смех — как это было совсем недавно — и еще раз переживал их гибель.

Пока их смерть была достоянием лишь батальона. Однако почти все они имели родных: матерей и отцов, жен и детей,— имели родственников и, несомненно, друзей. Где-то в городах и деревнях о них думали, волновались, ждали и радовались каждой весточке. И вот завтра полевая почта повезет во все концы страны эти похоронные, неся в сотни семей горе и плач, сиротство, обездоленность и лишения.

Страшно было подумать, сколько надежд и ожиданий разом оборвут эти сероватые бумажки с одинаковым стандартным сообщением: «...в бою за Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив мужество и героизм... был убит». Страшно было даже представить,— но что я мог поделать?..

Мне с самого начала, как только я занялся похоронными, не понравилось указанное в присланном образце официально-казенное обращение: «Гр-ке...» Третье или четвертое извещение, которое я заполнял, адресовывалось в Костромскую область матери моего друга Сережи Защипина, Евдокии Васильевне, милой и радушной сельской фельдшерице. Я ее знал: дважды она приезжала в училище и баловала нас редким по военному времени угощением, сдобными на меду домашними лепешками, и все звала меня после войны к себе в гости, на Волгу. И я почувствовал, что назвать ее «гр-ка» или даже «гражданка» я не могу и не должен. Уважаемая?.. Товарищ?.. Милая?.. Дорогая?.. Я сидел в нерешимости, соображая, вспомнил

почему-то Есенина и после некоторого колебания вывел: «Дорогая Евдокия Васильевна!»

Посоветоваться мне было не с кем, и время шло, и я на свою ответственность после адреса и фамилии с инициалами стал всем без исключения писать «дорогая» или же «дорогой», а затем указывал полностью имя и отчество.

В строке «Похоронен» я везде писал «на поле боя», и эти три слова все время беспокоили меня. Я помнил, как в самую распутицу первой военной весны мать, сколько ее ни отговаривали, отправилась пешком чуть ли не за двести километров разыскивать могилу Алеши, моего старшего брата, убитого где-то под Вязьмой, и как недели через две, так ничего и не найдя, она вернулась, измученная, больная, совершенно обезноженная и постаревшая сразу на много лет.

Я не сомневался, что многие из моих адресатов, многие из тех, кому я писал «дорогие», захотят, если не сейчас, то после войны, разыскать могилы близких им людей. Однако в ходе наступления мы оставляли убитых похоронным командам стрелковых дивизий, и потому не знали точно места захоронения, и указать его при всем желании я не мог.

Единственно, что после долгих размышлений, я еще надумал — вписать в каждое из двухсот трех извещений перед «Ваш сын (муж, отец, брат...)» следующие слова: «С глубоким прискорбием сообщаем, что...»

Это также было, конечно, вольностью и отклонением от формы и образца, но я решил, что подобная отсебятина, смягчающая официальную сухость похоронных, желательна и просто необходима. Если же в штабе бригады не захотят заверить мою самодеятельность печатью, что ж, я перепишу все заново — в батальоне имелось еще тысячи две чистых бланков.

Часов в десять утра приехали поверяющие из бригады: начальник строевого отдела, немолодой, молчаливый и неулыбчиво-строгий капитан и инструктор политотдела, подвижной и шумный старший лейтенант, тоже в годах; увидев меня, он еще с улицы, достав из машины связку свежих газет и брошюр, громко и радостно закричал, что наши войска штурмом овладели городами Нарвой и Демблин (Иван-город).

Нарва находилась где-то далеко на северо-востоке, под Ленинградом, а Демблин — где-то южнее Белостока и тоже неблизко; я никогда не был ни там, ни там, и эти с боями взятые города представились мне в ту минуту с чисто писарской, наверное, точки зрения — многими пачками похоронных.

Я поднялся и доложил, с недовольством подумав, что теперь у меня отнимут немало времени, однако, к счастью, они сразу же отправились в подразделения.

Похоронные заняли у меня не менее шести часов, причем я даже представить себе не мог, сколь разбитым, расстроенным и опустошенным буду чувствовать себя по мере того, как передо мной вырастала стопа заполненных извещений. Я писал, охваченный скорбными мыслями и воспоминаниями, и мог только позавидовать Витьке и Кареву: не ведая моих переживаний, они занимались с бойцами и оттуда, из-за деревни, где маршировали остатки батальона, доносились слова бодрой строевой песни:

Шко-ола мла-адших командиров
Ком-состав стра-не лихой кует.
Сме-ело в бой идти готовы
За-а трудящийся народ!
В сме-ертный бой идти готовы
За трудящийся народ!

Как и вчера, стоял чудесный солнечный день, жаркий, но не пеклый, и так славно, так изумительно пахло яблоками и медом. Как и вчера, Зося с утра возилась по хозяйству около хаты и на огороде, выполняя разную легкую работу, причем пани Юлия не однажды останавливала ее, стараясь по возможности все сделать сама. Я уже заметил, что она тщательно оберегает Зосю, как без меры, до баловства любимую дочку, единственную у матери, потерявшей в боях с немцами еще осенью тридцать девятого года сына и мужа.

Пробегая поутру через сад, Зося на ходу приветливо бросила мне: «Дзень добры!» — и я смущенно пробормотал ей вслед: «День добрый...» Я сидел, переставив стол так, чтобы густая огрузлая ветвь яблони свисала у самого моего лба, прикрывая оцарапанное лицо.

Потом Зося еще много раз, напевая что-то игриво-весе-

лое, проходила или пробегала мимо меня, то с маленьким ведерком — носила воду в бочки на огород,— то с цапкой или еще с чем-то.

Поглощенный похоронными, я уже не смотрел ей вслед, как вчера; я вообще почти не поднимал глаз и если видел ее мельком, то лишь случайно, непреднамеренно. Отвлекаться и обращать на нее внимание представлялось мне в то утро чуть ли не кощунственным неуважением к памяти погибших. Уверен, что, если бы она знала, чем я занят и что содержат эти сероватые бумажки, она бы не пела так радостно и не бегала бы через сад мимо меня.

Часа в два пополудни, заполнив последнюю похоронную, я послал часового с приказанием в пятую роту, предложив ему заодно пообедать самому и принести мне обед с батальонной кухни. Когда он ушел, я занялся было донесением, но затем, передумав, достал из планшетки однотомник, решив позволить себе короткую передышку.

Я огляделся: в саду и на дворе никого не было — начал читать и сразу же увлекся. Выйдя из-за стола, я с удовольствием декламировал то, что мне более всего нравилось, преимущественно по памяти, почти не обращаясь к тексту.

Я отчасти забылся, однако стоял лицом к хате и смотрел перед собой, чтобы вовремя заметить возвращение бойца.

Я читал с выражением и любовью, наслаждаясь каждой строкой и в душе радуясь, что часового еще нет и мне никто не мешает.

...Пусть порой мне шепчет синий вечер,
Что была ты песня и мечта.
Все ж кто выдумал твой гибкий стан и плечи —
К светлой тайне приложил уста.

Не бродить, не мять [redacted] кустах багряных...

Я стремительно обернулся на шорох — сбоку от меня, шагах буквально в десяти, под яблоней, держась рукою за ствол, стояла Зося.

Не знаю, что могла она ощущать, не понимая языка, но лицо у нее было сосредоточенное, взволнованное, словно она что-то переживала, [redacted] открытые широко глаза напряженно смотрели на меня. Возможно, ее захватила проникновенная мелодичность, прекрасное, подобное музыке, звучание есенинских стихов или она силилась догадаться, о чем в них говорилось,— не знаю.

Умолкнув на полуслове, я залился краской и, тотчас вспомнив о ссадинах, поспешно отвернулся, однако явственно расслышал, как у меня за спиною она тихо сказала: «Еще!» И по-польски [redacted] по-русски это слово означает одно и то же.

Я совсем растерялся, по счастью, [redacted] эту минуту появился боец с двумя дымящимися котелками. Из-за ветви, краем глаза я видел, как Зося, сняв с сучка небольшой, сверкнувший на солнце серп, медленно, гордо и вроде с недовольством пошла меж яблонь. Когда она скрылась в конце сада, я начал есть, положив перед собой раскрытый однотомник; впрочем, минут через пятнадцать я уже составлял очередное донесение.

Вскоре вернулись Витька и Карев. Настроение у них было приподнятое — поверяющие остались довольны батальоном. Как признался Витьке политотделец, они ожидали худшего, поскольку командир бригады приказал им бывать у нас чуть ли не через день, контролировать и помогать.

По моей просьбе Витька, присев с краю стола, за какие-нибудь полчаса подписал все похоронные. При этом он не вздыхал, не раздумывал и вообще не проронил ни слова, однако по-своему переживал: наклоня голову и насупясь, тяжело, натужно сопел, то и дело, очевидно встречая фамилии хорошо знакомых ему людей, морщился, как от кислого или от боли, сдавленно кряхтел и с ожесточением скреб пятернею затылок.

Закончив, так же молча поднялся, умылся возле машины и, уже вытираясь, позвал меня на обед, приготовленный пани Юлией. Мне не хотелось туда идти, и, поблагодарив, я показал под яблоню на порожние котелки — не настаивая, он и Карев ушли в хату.

5

После обеда Витька, прослышав, что в лесу неподалеку имеется заготовленный еще при немцах швырок, решил привезти по машине пани Юлии и Стефану.

Это было в его обычае.

— Мы не просто воины, и освободители,— не однажды с достоинством говорил он бойцам.— Кого мы освобождаем?.. Обездоленных!.. Мы обязаны, чем возможно, помогать им. Мы должны не брать, а давать...

Убежденный в этом, он, где бы мы ни стояли, в свободные минуты охотно помогал жителям: заготавливал для них топливо или вскапывал огороды, отрывал на пожарищах землянки и даже умудрялся складывать печи из старого битого кирпича. Я не сомневаюсь, что впоследствии эти люди нередко вспоминали его добрыми словами.

Еще он очень любил и также полагал делом чуть ли не государственной важности, насадив полный кузов ребятишек — то-то бывало крику, визга и радости! — покатать их вдоволь с ветерком, хотя наш прежний, погибший две недели назад командир батальона не одобрял подобный, по его выражению, «не вызванный необходимостью расход бензина» и не раз указывал Витьке на это.

По распоряжению Витьки Семенов пригнал «студебеккер» минометной батареи. Я видел и слышал, как, стоя во дворе у машины, Витька расспрашивал Стефана о дороге и как тот убеждал его не ездить. По словам Стефана, леса вокруг буквально кишели немцами, пробирающимися из окружения к линии фронта; дня три назад на хуторе невдалеке они вырезали польскую семью, а позавчера в том самом лесу, куда собирался ехать Витька, обстреляли из чащобы наш санитарный автобус, убив водителя и фельдшера, а машину с ранеными сожгли.

И пани Юлия тоже упрашивала Витьку, и подоспевшая к ним Зося по-свойски грозила ему кулачком и что-то быстро, с возмущением говорила матери и Стефану, как я понял, требуя, чтобы они запретили Витьке ездить.

Однако все эти уговоры могли только подзадорить Витьку. Снисходительно, благодушно усмехаясь, он велел Семенову принести два автомата, запасные диски и штук шесть гранат, проверив мельком оружие, уселся за руль —

Семенов поместился рядом — и поехал со двора. В самый последний момент Стефан, не на шутку рассерженный его упрямством, от души ругаясь по-польски и по-русски, поминая холеру, «дзябола», а также Витькиных родителей, уже на ходу вскочил сзади в кузов.

Я сидел под яблоней и писал, но мысленно находился в лесу с Витькой. Мне очень хотелось поехать с ним и чтобы на нас в самом деле обязательно напали — вот тогда бы я себя и проявил. Мне грезилось, как мы возвращаемся в деревню, причем я тяжело и опасно ранен, а в кузове, навалом — убитые мною немцы. Нас встречают взволнованные Зося и пани Юлия, и Стефан и Витька наперебой рассказывают им, что если бы не я, то никто бы вообще не уцелел.

Смешно и нелепо, что я мог об этом мечтать, да и зачем было бы привозить из леса трупы врагов, но, помнится, я этого действительно сильно желал. Чтобы Зося — и не только она — на деле убедилась, что я не просто писаришка, не какой-нибудь юнец с окорябанным носом, способный лишь корпеть над бумажками и читать стихи, и мужчина и воин. Понятно, она видела награды у меня на гимнастерке, однако ордена получали и в штабах, перепадали они подчас тем же писарям, и потому мне очень хотелось наглядно проявить себя.

Я так размечтался, что испортил донесение о наличии инженерного имущества в батальоне, и пришлось все переделывать.

Витька с Семеновым и Стефаном вернулись часа через полтора, довольные и веселые, на машине, груженной выше бортов отменным березовым швырком. Пани Юлия тоже заулыбалась, но Зося негодовала по-прежнему. Как объяснял Витьке Стефан, она не желала дров, из-за которых кто-то мог погибнуть, и заявила, что они с матерью проживут и обойдутся и без этого швырка. Она столь темпераментно протестовала и выражала свое возмущение, что пани Юлия быстро сдалась, отказалась от дров и попросила Витьку увезти их на двор к Стефану.

Против обыкновения, Витька даже не попытался настаивать, машина тут же развернулась и уехала, пани Юлия и Зося ушли куда-то по своим делам, и я остался с злополучными бумажками. Несмотря на все мои старания

и усилия, их вроде и не убывало, и мне так хотелось закончить наконец и со спокойной душой написать письмо матери.

Я трудился не разгибаясь, меж тем Витька привез вторую машину дров, и, пользуясь отсутствием Зоси и пани Юлии, он с Семеновым и Стефаном проворно сбросили швырок и за минуту-другую сложили в поленницу возле риги.

Я помнил, что требуется сменить часового в саду, и, как только Семенов освободился, поставил его на пост. Стефана тем временем позвали — к нему приехали родичи,— и он ушел, еще раз поблагодарив Витьку и пригласив его зайти и распить со свояком бутылку бимбера. Витька обещал — малость погодя.

Прежде чем отогнать машину, он сидел на подножке и курил, в задумчивости оглядывая ровную поленницу, когда на дворе появилась какая-то нищенски одетая, жалкая и грязная старуха и обратилась к нему плачущим голосом.

Она запричитала, часто повторяя «ниц нема»[1] и показывая то на поленницу, то через улицу, на хилую хатенку, где, очевидно, она жила.

— Завтра, мамаша, завтра,— сразу поняв ее, заверил Витька.— Обязательно!

Я не сомневался, что он и ей завтра привезет дров, но она этого не понимала и продолжала плакать, стукая себя костлявой рукой по груди и упрямо повторяя «ниц нема».

— Вот чертова бабка, колись она пополам!..— поднимаясь, в сердцах воскликнул Витька, не переносивший слез; он состроил свирепое лицо и, словно ища сочувствия, посмотрел в мою сторону.— Как банный лист!

Сделав последнюю затяжку, он загасил каблуком окурок и живо взялся за дверцу кабины.

Я почувствовал, что он решил съездить сейчас же, причем один, а солнце уже садилось, и в лесу наверняка смеркалось, отчего опасность нападения намного возрастала. Поспешно собрав бумаги, я запер их в металлический ящик и, схватив из «доджа» свой автомат, бросился на двор.

— Ты куда? — высовываясь из кабины, удивленно

[1] Ничего нет *(польск.)*.

спросил Витька.— За дровами?.. Ты давай с бумажками кончай! — распорядился он.— Я быстренько!

И, отжав сцепление, ходко поехал со двора, а я постоял, глядя ему вслед, подумал еще, что мне бы надо было проявить настойчивость и не отпускать его одного, и затем вернулся в сад.

Писать я уже физически не мог. Рука онемела и совсем отнималась; как я ни напрягал глаза, в смуром полусвете под яблоней буквы и строки различались с трудом; голова разламывалась и не соображала. К тому же Семенов, видимо недовольный тем, что я на весь вечер поставил его часовым, и уверенный, должно быть, в моем мягкосердечии и своей безнаказанности, набрал в подол гимнастерки яблок и, развалясь на сиденье «доджа», демонстративно, с невероятным хрустом жрал их и, швыряя огрызки, нагло и вызывающе поглядывал на меня.

Я ушел за деревню, и сразу же мысли о Зосе овладели мною. Произошло это не по моему желанию, а непроизвольно, и я, как мог, пытался перебороть себя.

Действительно, какое мне дело до этой Зоси?..

И собственно говоря, что она такое и что в ней особенного?.. Самая обыкновенная девчонка, каких в моей жизни — если, понятно, я уцелею — встретится еще немало. Причем, без сомнения, будут среди них и лучше и красивее.

Да и что может быть общего между мною — комсомольцем, убежденным атеистом — и какой-то католичкой? Что?! Ведь она, если вдуматься и назвать вещи своими именами,— религиозная фанатичка. И к тому же еще, должно быть, ярая националистка...

Царевич я. Довольно, стыдно мне
Пред гордою полячкой унижаться...

Теоретически все было правильно и логично, но, увы, только теоретически. И напрасно я то заставлял себя думать о другом, то, наоборот, старался выискать в ней что-нибудь дурное, уговаривая себя и домысливая черт знает что.

Я шагал и шагал полями, не задумываясь, куда и зачем, и лишь очутясь на опушке большого угрюмого в наступающих сумерках леса, остановился, оглядываясь и соображая.

Догадка осенила меня, когда я случайно рассмотрел на песчаной дороге свежие рубчатые следы шин «студебеккера».

Очевидно, это был тот самый лес, куда ездил Витька за дровами, и все объяснялось несложно: я слышал, когда после обеда Стефан отвечал Витьке, как проехать к делянке с заготовленным швырком, запомнил его рассказ и теперь, в глубине души беспокоясь за Витьку, сам о том не думая, шел по этой дороге.

В лесу крепко пахло хвоей, было темно, душно и мрачновато. Я углубился, наверное, не более, чем на пятьсот метров, когда увидел перед собой что-то очень черное, большое и не вдруг сообразил, что это — сожженный немцами наш санитарный автобус.

Подойдя, я не стал заглядывать внутрь — за полтора года я перевидел достаточно трупов,— а присел на корточки и, не без труда различив на обочине след «студебеккера», двинулся дальше.

Не помню точно, испытывал ли я страх в том зловещем враждебном лесу, но не волноваться, безусловно, не мог. Если бы с Витькой что-либо случилось, я бы никогда не сумел простить себе, что отпустил его одного.

Я шел в глубь густого массива, пока не услышал где-то впереди шум мотора, и, определив, что машина движется мне навстречу, скользнул в сторону и спрятался за деревьями.

Минуты две спустя мимо меня, тускло присвечивая затемненными фарами, проехал «студебеккер», груженный швырком; Витька, настороженно всматриваясь в полумрак, сидел за рулем.

У меня и в мыслях не мелькнуло его окликнуть. Просто мне хотелось и я считал своим долгом в случае чего быть рядом с ним. Однако я не сомневался, что, если бы он меня теперь увидел, если бы он узнал или, может, сам догадался, что меня привело в лес беспокойство, тревога за его жизнь, он наверняка бы посмеялся и, думается, сказал бы без злости, но и не скрывая своего презрения, что-нибудь вроде: «Телячьи нежности!» или «Пижонство, а также гнилой сентиментализм!»

И еще, должно быть, крепенько отругал меня: ведь я был совершенно безоружен; выходя, я не предполагал, что

окажусь в лесу, и даже пистолета с собой не взял.

Он проехал к деревне, а я немного погодя выбрался на дорогу и побрел следом, мимо сожженной машины, к опушке.

Помнится, я даже не ощутил особой радости, когда лес наконец кончился и чересполосица ржей снова окружила меня. Что хорошего обещал мне этот вечер и что ждало меня в деревне?..

Будто сочувствуя, сиротливо шелестела колосьями рожь, и, не переставая, с утомительной монотонностью стрекотали кузнечики.

Я добрел до околицы, когда совсем уже стемнело и первые звезды набрали яркость, а луна, утратив начальную желтизну, сделалась серебристой.

В ее призрачном сиянии распятый Христос страдал на высоком деревянном кресте; признаться, мне тоже было нелегко: тоскливо и одиноко.

Еще подходя, я услышал гитару — играл Витька. Он, конечно, уже успел сгрузить дрова, поставил машину, переоделся, поужинал и теперь отдыхал. Будучи человеком действия, он скоро и решительно сделал нужное дело, а я в это же время со своим томлением и переживаниями телепался, как цветок в проруби, никчемно и бесполезно.

Там, возле хаты пани Юлии, видимо как и вчера, собрались, чтобы потанцевать и повеселиться. Ну и ладно... А меня там не будет — я туда и не покажусь. И пусть Зося — да и не только она — думает, что меня это ничуть не волнует, что у меня есть дела поинтересней и поважнее, чем всякие танцы-шманцы, эмоции и ухаживания.

А Витька, аккомпанируя себе на гитаре, с чувством пел:

Разбирая поблекшие карточки,
Орошу запоздалой слезой
Гимназисточку в беленьком фартучке,
Гимназисточку с русой косой...

Вспоминаю, и кажется нелепым и неправдоподобным, что Витька, столь мужественный, сильный и цельный парень, не терпевший никаких сантиментов и нежностей,

мог под настроение распевать подобную чувствительную дребедень. Нелепо и неправдоподобно, но, как говорится, из песни слова не выкинешь — было...

Вы теперь, вероятно, уж дамою,
И какой-нибудь мальчик босой
Называет вас, боже мой, мамою,
Гимназисточку с русой косой.

Ну и пусть... В невеселом раздумье я стоял у креста; идти в деревню, с кем-либо общаться и разговаривать мне не хотелось, и я не знал, что же теперь предпринять. Куда себя деть и чем заняться до сна?..

От ближних хат тянуло жильем и аппетитным запахом свежеиспеченного хлеба; я даже ощутил некоторый голод и не без грусти подумал, что, может, никто и не вспомнил, ужинал я или нет.

Постояв еще немного, я задворьем тихонько прошел к хате Стефана, где около крыльца размещалась батальонная кухня.

Из завешенного — для светомаскировки — дерюжкой окна доносилась русская и реже польская речь, но на дворе возле двухколесных автомобильных прицепов с полевыми котлами никого не было. Не желая звать повара — я узнал его по голосу, слышному из хаты,— я сам приподнял крышки и в одном из котлов обнаружил темный тепловатый чай, а в другом — остатки вкусно пахнувшей мясом и дымом каши.

Я посмотрел вокруг, однако ни черпака, ни ложки, ни котелка нигде не нашел. Тогда я подобрал малую саперную лопатку, обмыл ее водой из бочки, осторожно, чтобы не запачкаться, перегнулся в котел и зачерпнул ею изрядную порцию густого крупяного варева.

Это оказалась еще не совсем остывшая и удивительно вкусная гречневая каша, обильно сдобренная трофейным шпиком, свиной тушенкой и жареным луком. Присев на чурбачок у прицепа, я, орудуя щепкой, с аппетитом и большим удовольствием принялся есть, только теперь почувствовав, насколько проголодался.

В хате выпивали и были уже порядком под хмелем. Кроме повара, пожилого степенного ефрейтора Зюзина, называемого всеми в батальоне Фомичом, я узнал по голосу

Стефана, а также Сидякина, молоденького ершистого автоматчика из пятой роты. Был там еще кто-то, очевидно свояк Стефана, говоривший мало и только по-польски.

Стефан все расспрашивал о колхозах, причем Фомич с пьяноватым спокойствием, растягивая слова, говорил:

— Ничего-о... Жить мо-ожно...

Сидякин же, наоборот, ссылаясь на свою деревню, ругался и с жаром советовал Стефану податься в город на заработки, поскольку, мол, толку все равно не будет.

— Не бо-ойсь...— успокаивая старика и невозмутимо противореча Сидякину, тянул нараспев Фомич.— Не пропаде-ешь...

Я немного отвлекся, слушая их разговор, и, должно быть, охотно посидел бы еще, но получалось, что я подслушивал, и потому, доев всю кашу, поддетую на лопатку, я попил воды и, так никем и не замеченный, вернулся на задворье.

Тем временем Витькино пение под гитару сменилось гармонью. Играл любимец батальона, гранатометчик Зеленко, играл с редким талантом и мастерством. Что бы он ни исполнял: украинскую народную песню или старинный вальс, чеканил ли озорную плясовую или строевой бравурный марш — приходилось лишь удивляться, как из старой обшарпанной трехрядки с пробитыми и залатанными мехами ему удается извлекать такие чистые, мелодичные и берущие за душу звуки.

Вкусная сытная каша подкрепила меня не только физически, но и морально, я почувствовал себя бодрее и как-то увереннее. Зеленко играл, и меня неодолимо влекло туда — потихоньку я медленно подвигался задами к хате пани Юлии, где танцевали под гармонь.

Спустя некоторое время я стоял в крапивнике за ригой, с волнением прислушиваясь к смеху и голосам, а трехрядка звала меня, все звала, подбадривая и будоража, и постепенно я склонился к мысли, что мне следует пойти туда и пригласить Зосю танцевать.

В самом деле, почему бы мне это не сделать?.. Да что я, рыжий, что ли?..

Я попытался увидеть себя со стороны и оценить строго, но объективно.

Я был не хлипкого телосложения, достаточно ловок и

танцевал, во всяком случае, не хуже Витьки или Карева. Понятно, ссадины на лице не украшали меня, однако в конце концов это не так уж существенно и надо быть выше этого.

Возможно, я совсем не умел пить и у меня недоставало командных качеств, не хватало властности в обращении с подчиненными, но я отнюдь не был тряпкой или пижоном. Я воевал уже полтора года, имел ранения и награды, причем стрелял лучше других и, если верить донесениям и фронтовой газете, имел на личном боевом счету больше убитых немцев, чем кто-либо еще в батальоне.

«Смелостью берут города...— убеждал и настраивал я себя, расхаживая за ригой.— К черту интеллигентность!.. Под лежачий камень и вода не течет... Главное — боевая наступательная тактика! Напористость, граничащая с нахальством...»

И еще я мысленно повторял любимое Витькино изречение: «Жизнь, как и быка, надо брать за рога, а не хватать за хвост!»

Вскоре я так основательно настропалил себя, что, отбросив все сомнения, уже ясно представлял себе, как подхожу к Зосе и, с кем бы она ни стояла, приглашаю ее танцевать. Приглашаю не интеллигентским наклоном головы, а как и подобает настоящему мужчине — повелительно, с силой и грубовато взяв ее за руку. Я уже надумал, что если кто-нибудь окажется рядом с нею — у меня на дороге,— то я как бы невзначай, мимоходом отодвину его плечом, точно так же, как это сделал на моих глазах Витька с одним лейтенантом-артиллеристом на танцах в деревушке за Могилевом.

Возбужденный, переполненный необыкновенной решимостью, я метался в крапивнике, чувствуя, что теперь уже никто и ничто меня не остановит — я пойду напролом, как танк!

Стремительным ударом всего корпуса я отшвыривал вероятного соперника и с такой яростью хватал воображаемую руку Зоси, что у меня даже мелькнуло опасение — как бы не переборщить!.. Ведь она юная и нежная девушка, и, если ее так схватить, она может, не выдержав, заплакать от боли или, оскорбясь, разгневаться, как вчера за обедом, когда Витька, не тронув ее и паль-

цем, всего-навсего указал взглядом на цепочку от крестика.

В конце концов я так себя распалил и так разошелся, что уже положительно не мог находиться в бездействии.

Было бы несолидно появиться с задворок, к тому же не мешало сначала смахнуть пыль с сапог, и я прошел к машине в сад.

Часовой — все тот же Семенов — полулежал в кузове на сене и лениво тянул «Темную ночь». Когда я приблизился, он, скосив глаза, посмотрел на меня, однако даже не приподнялся.

— Встать! — негромко, но твердо приказал я и, поскольку он и не шевельнулся, с силой рванул его за плечо и властным железным голосом закричал: — Встать!!!

Недоумело глядя на меня, он поднялся в кузове (если бы он помешкал еще хоть две-три секунды, я, безусловно, выкинул бы его из машины) и хотел что-то сказать, но я, не дав ему и рта открыть, свирепо оборвал:

— Молчать!!! Вы что, на посту или у тещи на блинах?! Совсем обнаглел! Увижу еще хоть раз — заставлю месяц на кухне картошку чистить!..— Я вскинул руку к пилотке.— Выполнять!..

Я еще никогда с ним так не разговаривал, понятно, он не ожидал и несколько опешил. Он послушно вылез из кузова, повесил себе на грудь автомат и, потирая плечо и невнятно, недовольно бормоча, отошел к яблоням.

Собственно, я ничуть не собирался его воспитывать, просто мне надо было достать бархотку из Витькиного вещмешка, на котором, как мне показалось, он лежал.

Не обращая более на него внимания, я снял пыль с сапог, щедро намазал их гуталином военного времени — черной вонючей мазью — и, как это делал Витька, старательно до блеска насандалил бархоткой.

Затем подтянул ремень еще на две дырочки, одернул тщательно гимнастерку, поправил погоны и пилотку и через щель в изгороди вылез на улицу.

Прежде чем, как я намеревался, с некоторой развязностью непринужденно и решительно войти во двор, прежде чем начать действовать, я, чтобы бегло ознакомиться с обстановкой, стал незаметно у калитки за деревом.

На залитой лунным полусветом небольшой площадке

перед крыльцом кружились парами под гармонь человек двадцать, в основном бойцы и сержанты батальона; часть из них танцевала «за дам». Женщин было всего три или четыре, и я сразу увидел Зосю.

Она танцевала с Витькой, доверчиво положив руку на его плечо. Он придерживал ее сзади за талию и, вальсируя, что-то ей говорил; не знаю, понимала ли она хоть слово, но она улыбалась или даже смеялась. Я напряженно всматривался, и спустя мгновение меня поразило, ударило в самое сердце неподдельно радостное, откровенно счастливое выражение ее бледного в серебристом свете лица.

Несомненно, ей было весело и даже радостно — ей и без меня было хорошо!..

Я ушел за хату и лег на сено в кузове, пытаясь как-то овладеть собою, успокоиться и собраться с мыслями.

Мне было тяжко, непередаваемо тяжко и больно.

Не жалею, не зову, не плачу...

Нет, неправда!.. Не то!.. Совсем не то...

В Хороссане есть такие двери,
Где обсыпан розами порог.
Там живет задумчивая пери.
В Хороссане есть такие двери,
Но открыть те двери я не смог.

«Не смог!..» Я лежал на спине, и перед моими глазами в темном глубоком небе ярко мерцали бесчисленные звезды, дрожали, лучисто помигивая, словно насмешничали и дразнились. Только звезды да еще луна, должно быть, знают, сколько в мире влюбленных и сколько среди них неудачников... Луна, конечно, солидней, тактичней и добродушнее; но звезды...

А может, они вовсе и не насмешничали?.. Может, наоборот, подбадривали меня, мол: «Не робей!.. Смелостью берут города... Иди!.. Дерзай!»?.. Может быть — не знаю... Однако лицо Зоси сказало мне больше, чем любые надежды, подбадривания и самовнушения; оно было нагляднее и несравненно убедительнее всех остальных доводов.

Мне еще долго не спалось. Семенов с автоматом наизготове, как и положено часовому, мерно расхаживал взад и вперед по саду. В глубине души у меня даже ворохнулось сожаление, что я так резко с ним обошелся. Возможно, следовало бы теперь сказать ему что-нибудь хорошее, одобрительное, но заговорить я не мог. К тому же мне было стыдно перед ним, как перед очевидцем моих энергичных приготовлений и моего незамедлительного возвращения.

Я лежал, чувствуя себя глубоко несчастным и обездоленным, а по ту сторону хаты танцевали под задорные звуки гармони, то и дело слышался смех, веселые восклицания, и, как мне казалось, я даже различал среди других звонкий и радостный голос Зоси.

Ей и без меня было хорошо!.. До боли, до муки ужасало сознание, что она даже не думает, не вспоминает обо мне, что через несколько недель мы двинемся дальше, а она останется со своей жизнью, созданная, несомненно, для кого-то другого; я же — буду ли убит или уцелею — в любом случае навсегда исчезну из ее памяти, как и десятки других посторонних, безразличных ей людей...

Я думал о несправедливости, о жестокости судьбы, и чем дальше, тем более обида и жалость к самому себе охватывали меня...

* * *

Я проснулся после полуночи от громкого разговора. В свете луны около машины стояли Витька и Семенов, причем Витька, к моему удивлению, был пьян.

— Товарищ старший лейтенант, я одеяло из хаты принесу,— неуверенно говорил Семенов, поддерживая его под руку.— И подушку...

— Отставить!.. Телячьи нежности, а также... Ты, Семенов, совсем разболтался... Азбучных истин не понимаете! — рассерженно бормотал Витька, с помощью ординарца забираясь в кузов.— Безделье разлагает армию... И никаких пьянок и никаких женщин!..

6

А на другой день, когда начало смеркаться, мы покидали Новы Двур.

Вечером перед самым ужином был получен совершенно неожиданный приказ: к утру быть восточнее Бреста, в районе станции Кобрин, где уже, оказывается, выгружалось маршевое пополнение и техника для нашей бригады.

Почти одновременно с приказом к нам на штабном бронетранспортере заехал комбриг.

— Дней пять на ознакомление, на выработку слаженности и взаимодействия и — в бой! — приподнятым молодцеватым голосом объявил он.— Нас ждут на Висле! — обнимая за плечи меня и Витьку рукой и протезом, сообщил он с гордостью и так значительно, будто без нашего небольшого соединения ни форсировать Вислу, ни вообще продолжать войну было невозможно.— Хорошенького, ребята, понемножку. Отдохнули — надо и честь знать...

Все было правильно. Наступление продолжалось, фронту требовались подкрепления, где-то там, наверху, очевидно, в Ставке, перерешили, и потому полтора-два месяца предполагаемого отдыха обернулись для нас всего лишь тремя днями. Все было правильно, но получилось как-то очень уж неожиданно, я даже письма матери не успел написать. Да и какой по существу это был отдых — я трудился, почти не разгибаясь, с рассвета и до темна.

Мы собрались за какие-нибудь полчаса.

Витька, развернув на коленях карту, сидел в головном «додже» рядом с водителем, угрюмый и молчаливый. Весь день он ходил сумрачный и мычал самые воинственные мелодии, а более всего: «В атаку стальными рядами мы поступью твердой идем...» Поутру он несколько часов занимался с бойцами строевой подготовкой, был до придирчивости требователен и грозен.

От Карева в обед я узнал, что прошлым вечером, когда после танцев Витька попытался «по-настоящему» обнять Зосю, она взвилась как ужаленная и в одно мгновение разбила о его голову гитару — прекрасную концертную гитару собственноручной работы знаменитого венского мастера Леопольда Шенка.

— Так врезала,— не без восхищения сказал мне Карев,— вдребезгу́!

Со стыда или от огорчения, обескураженный и, наверно, уязвленный Витька в полночь напился.

Понятно, для меня это было неожиданностью, впрочем,

услышав, что она его ударила, я и не особенно удивился. В этой девчонке был норов и какая-то диковатая горделивость и независимость — я почувствовал это в первый же день.

Крестьяне нас провожали. К нашей машине подошли пани Юлия, Стефан и еще кто-то. И другие машины окружили провожающие и просто любопытные. Но Зоси нигде не было видно.

Пани Юлия принесла большой букет цветов и крынку сметаны. Витька, взяв букет и что-то пробормотав, тут же сунул его за спину в кузов и снова углубился в карту; принимая цветы, он даже не улыбнулся. Стефан притащил две тяжелые корзины и с ядреной солдатской прибауткой вывалил на сено в кузове яблоки и отборные зеленые огурчики. Он было заговорил, обращаясь к Витьке, но, не получив ответа, сразу умолк и, вынув аккуратно сложенную газету, оторвал ровный прямоугольничек и занялся самокруткой.

Последние запоздалые бойцы торопливо подбегали и влезали на машины. Распоряжаясь погрузкой, я инструктировал командиров и водителей, проверял размещение людей с оружием вдоль бортов и, беспокоясь, как бы чего не упустить, отдавал и повторял все необходимые приказания по боевому обеспечению марша.

Нам предстояло до рассвета, за какие-нибудь семь часов, с затемненными фарами и ориентируясь в основном по звездам, проделать почти двести километров, большей частью плохими рокадными проселками, в лесах, где, как предупреждал штаб бригады, полно было немцев, разрозненными группами прорывающихся на Запад, и где на каждом шагу мы могли подвергнуться обстрелу и нападению из темноты. Однако для маскировки передислокации бригаде предписывалось двигаться обязательно ночью, побатальонно — тремя автоколоннами — и по разным дорогам.

Витька с угрюмо-сосредоточенным видом рассматривал карту, а пани Юлия, стоя рядом и часто вздыхая, глядела на него, растроганная, добрыми благодарными глазами, глядела с такой любовью, сожалением и печалью, словно навсегда расставалась с близким и очень дорогим ей человеком.

Целиком полагаясь на меня, Витька ни во что не вмешивался и во время погрузки не проронил ни слова. Меж тем наступала минута, назначенная приказом для выезда, и следовало подать команду, а я медлил: мне страшно хотелось еще раз, хоть на мгновение, увидеть Зосю. Но она часа полтора назад куда-то убежала со своей корзинкой и, надо полагать, до сих пор не вернулась.

Чтобы помешкать и немного задержаться, я с озабоченным видом начал проверять пулемет, установленный на треноге в «додже», и занимался им несколько минут, однако Зося не появлялась. Тогда, презирая и проклиная себя в душе за слабоволие и неспособность преодолеть свои чувства, я опять обошел маленькую — восемь машин — колонну, снова инструктируя командиров и водителей; затем, возвратясь к «доджу», глянул незаметно на часы: тянуть долее было невозможно.

Стоя на обочине, я в последний раз с горечью и грустью посмотрел на хату пáни Юлии и, решившись, громко скомандовал:

— Приготовиться к движению!

Затем, легко прыгнув в невысокий кузов, выпрямился, слушая передаваемую в хвост колонны команду, и в ту же секунду увидел Зосю.

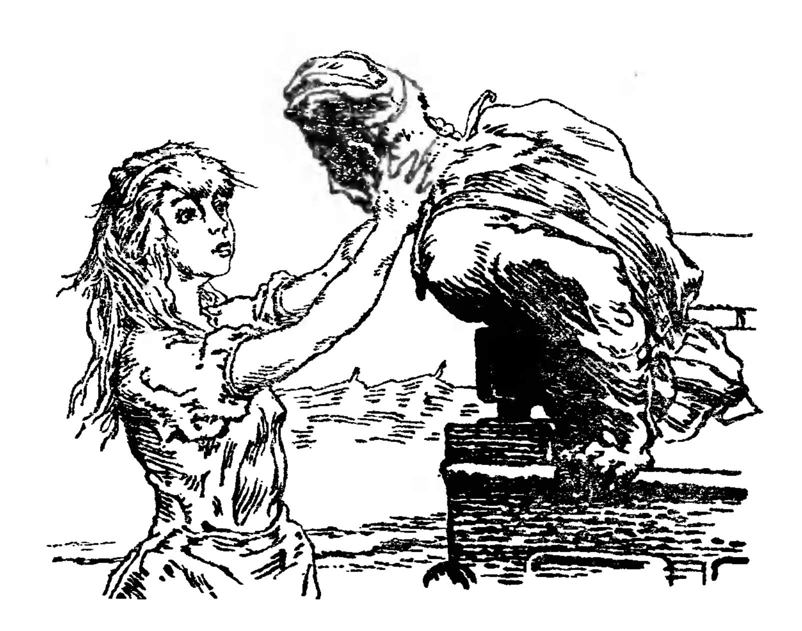
Что-то крича, она со всех ног мчалась от хаты к нашей машине. Я мельком подумал, что ей, наверно, неловко перед Витькой за вчерашнее и, чтобы загладить свою излишнюю резкость, она решила попрощаться с ним и пожелать ему перед отъездом «сто лят» жизни, как того желали нам пани Юлия, Стефан и другие провожающие.

Задыхаясь от быстрого бега, она достигла нашей машины, но не бросилась, как я ожидал, к Витьке, а, наклоня голову, сунула мне через борт какой-то старый конверт и, показывая три пальца, что-то быстро проговорила.

— Три дня неможно смотреть! — хитровато улыбаясь, перевел Стефан.

Я покраснел и, плохо соображая, в растерянности машинально поблагодарил и присел на скамейку у борта. А Витька, кажется, даже не обернулся.

Мотор заработал сильнее, но машина не успела тронуться, как неожиданно Зося с напряженным испуганным



лицом — в глазах у нее стояли слезы! — вдруг обхватила меня руками за голову и с силой поцеловала в губы...

Я пришел в себя, когда мы уже выехали за околицу... До того дня меня еще не целовала ни одна женщина, разумеется, кроме матери и бабушки.

Первой моей мыслью, первым стремлением было — вернуться! Хоть на минуту!.. Но где там... Как?..

Мы быстро ехали в наступающих сумерках, не включая до времени узких щелочек-фар, а полумрак все плотнел, сгущался, очертания дороги, отдельных кустов и деревьев расплывались и пропадали. Высокий чащобный лес темной безмолвной громадой тянулся по обеим сторонам, кое-где вплотную подбегая к дороге.

Настороженно глядя вперед и по бокам, я сидел на ящике у пулемета, машинально держа ладони на шероховатых ручках затыльника, готовый каждое мгновение привычным, почти одновременным движением двух больших пальцев, левым — поднять предохранитель, а правым — нажать спуск и обрушиться кинжальным смертоносным огнем на любого возможного противника.

Я запретил на марше курить, шуметь и громко разговаривать, к тому же внезапная перемена подействовала несколько ошеломляюще, и на машинах сзади не слышалось ни голоса, ни лишнего звука.

В вечерней лесной тишине ровно, нешумно гудели моторы, шуршали шины, и только в нашем «додже» молоденький радист с перебинтованной головою — он так и не пожелал уйти в медсанбат,— пытаясь установить связь со штабом бригады, как и четверо суток тому назад, упорно повторял: «Смоленск»! «Смоленск»! Я — «Пенза»! Я — «Пенза»! Почему не отвечаете?! Прием...»

Мы двигались навстречу неизвестности, навстречу новым, для многих последним боям, в которых мне опять предстояло командовать по крайней мере сотней взрослых бывалых людей, предстояло уничтожать врага и на каждом шагу «являть пример мужества и личного героизма», а я — тряпка, слюнтяй, сюсюк! — даже не сумел, не решился... Я оказался неспособным хотя бы намекнуть девушке о своих чувствах... Боже, как я себя ругал!

Витька, прямой и суровый, недвижно сидел рядом с водителем и смотрел перед собой в полутьму, где метрах в двухстах впереди ходко шел приданный нам комбригом в качестве головной походной заставы или же прикрытия его личный бронетранспортер. Витька смотрел в полутьму и, не переставая, мычал: «В атаку стальными рядами мы поступью твердой идем...» Немного погодя, очевидно вспомнив, рывком обернулся и, задев локтем штырь антенны, схватил букет, поднесенный ему пани Юлией.

— Как на похороны! — в сердцах закричал он, сильным движением забрасывая цветы за кювет.— Телячьи нежности, а также... гнилой сентиментализм!..

И снова в настороженной тишине ровно шумели моторы, и радист упрямой скороговоркой вызывал штаб бригады.

— Что там в конверте? — шепотом приставал ко мне Карев.— Давайте посмотрим...

— То есть как это посмотрим? — заметил я строго и не без возмущения.— Ведь сказано: три дня!..

Однако я не удержался. В тот же вечер, на первом же привале, отойдя потихоньку в сторону, я накрылся в темноте плащ-палаткой и при свете фонарика распечатал

заклеенный хлебным мякишем конверт. В нем оказалась завернутая в бумагу фотография Зоси — наверно, еще довоенный снимок красивой девочки-подростка с ямочками на щеках, короткими косицами вразлет и ласковым, наивно-доверчивым выражением детского лица.

А на обороте крупными корявыми буквами, размашисто, видимо второпях, было написано: «Ja cie kocham, a ty spisz!..»[1]

7

Города действительно берут смелостью. Витька — Герой Советского Союза Виктор Степанович Байков — первым из нашей армии ворвался на улицы Берлина и навсегда остался там под каменным надгробием, в Трептов-парке... А вот чем покоряют женщин, я и сейчас — став вдвое старше — затрудняюсь сказать; думается, это сложнее, индивидуальнее.

Был я тогда совсем еще мальчишка, мечтательный и во многом несмышленый — это было так давно!..— но и по сей день я не могу без волнения вспомнить польскую деревушку Новы Двур, Зосю и первый, самый первый поцелуй.

Вижу ее как сейчас: невысокая, ладная и необычайно пленительная, раскачивая в руке корзинку, легко и ловко ступая маленькими загорелыми ногами — как бы пританцовывая,— она идет через сад, напевая что-то веселое... оскорбленная, пунцово-красная, разъяренная сидит за столом, высоко вскинув голову и вызывающе выпятив грудь с католическим серебряным крестиком на цветастой блузке... Представляю ее себе необыкновенно живо, до мелочей, до веснушек и точечной родинки на мочке крохотного уха... Представляю ее себе то по-детски смешливой и радостной, то строгой и до надменности гордой, то исполненной удивительной нежности, кокетства и пробуждающейся женственности... Вижу ее и в минуту расставания — напряженное, испуганное лицо, дрожащие, как у ребенка, брови и слезы в уголках глаз...

---

[1] Я тебя люблю, а ты спишь!.. *(польск.)*

Сколько раз за эти годы я вспоминал ее, и всегда она заслоняла других... Теперь, она, наверно, уже не та, должно быть, совсем не такая, какой осталась в моей памяти, но представить ее себе иной, повзрослевшей я не могу, да и не желаю. И по сей день меня не покидает ощущение, что я и в самом деле что-то тогда проспал, что в моей жизни и впрямь — по какой-то случайности — не состоялось что-то очень важное, большое и неповторимое...

1963



СОДЕРЖАНИЕ

К ЧИТАТЕЛЯМ

Отзывы об этой книге
просим присылать по адресу:
125047, Москва, ул. Горького, 43.
Дом детской книги.

ДЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

Владимир Осипович Богомолов

ИВАН. ЗОСЯ

ИБ № 4966

Ответственный редактор *С. И. Боярская*. Художественный редактор *Т. М. Токарева*. Технический редактор *М. В. Гагарина*. Корректоры *Ж. Ю. Румянцева* и *Е. И. Щербакова*. Сдано в набор 15.12.80. Подписано к печати 09.04.81. Формат $84\times108^1/_{32}$. Бум. типогр. № 1. Шрифт обыкновенный. Печать высокая. Усл. печ. л. 6,72. Усл. кр.-отт. 7,4. Уч.-изд. л. 6,72. Тираж 300 000 экз. Заказ № 2803.
Цена 35 коп.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Сущевский вал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот»